АННА ГЕРМАН

ГИМН ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЮБВИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Любовь долготерпит, милосердствует, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине…» Последнее, что сделала Анна Герман в своей жизни, – написала музыку на этот Гимн Любви апостола Павла: «Любовь не завидует, любовь не превозносится, всему верит, всего надеется, все переносит…» И таким же Гимном Любви стала данная книга. Это – неофициальные мемуары великой певицы, в которых она вынуждена была промолчать об очень многом (о немецком происхождении своей семьи, о трагической судьбе отца, репрессированного и расстрелянного в 1938 году, о своей дружбе с будущим Папой Иоанном Павлом II). Это – исповедь счастливой женщины, в жизни которой была настоящая Любовь. Ее любимый предложил Анне руку и сердце, когда врачи отказывались верить, что она будет ходить после страшной аварии (49 переломов, тяжелейшая травма позвоночника, полгода в гипсе, более трех лет она не выходила на сцену). Ее муж был с ней «и в горе, и в радости», и в счастливые годы ее громкой славы, и в трагические дни, когда, узнав о своей смертельной болезни, она решила писать эту книгу. И написала ее так же, как пела, ни в ее «золотом голосе», ни в этой последней исповеди нет ни единой фальшивой ноты, ни гнева, ни отчаяния – лишь Гимн торжествующей Любви.

- Анна Герман
  -
  - Я не вернусь в Сорренто
  - Авария
  - Певица Анна Герман. Трудный нетрудный выбор
  - Детство, которого не было
  - Мои песни
  - Гастроли
  - Мои два Збышека
  - Мои московские друзья
  - Не своя…
  - «Неправильная» жизнь?
  - Постскриптум

Анна Герман
Гимн торжествующей Любви

Фотография на обложке, суперобложке и контртитуле *Рыбаков* / РИА Новости

Я не вернусь в Сорренто

«Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

«Гимн любви» из Первого послания коринфянам апостола Павла

Вот что надо петь, обязательно надо. Почему никто не спел до сих пор?

Эти записи не продолжение «Вернись в Сорренто?». Ту книгу я писала, едва придя в себя после автокатастрофы, как ответ на многочисленные письма с пожеланиями выздоровления после страшной аварии, словно доказывая, что уже что-то могу. Тогда казалось очень важным вспомнить каждый свой шаг в Италии до аварии и после нее, словно самой себе показать, что я справилась.

Прошло больше десяти лет, кроме того, тогда я знала, что от меня зависит, встану или не встану на ноги, буду или не буду петь. Знала, что если перенесу немыслимую боль, сумею справиться с непослушными мышцами, подчиню себе свое тело, собранное по кускам, то выйду на сцену.

Удивительно, тогда врачи твердили в один голос: «Положение безнадежное», потом: «Ходить, возможно, будет, петь нет, на сцене не будет…» А я верила, что буду. Сказать, что это просто уверенность молодости, нельзя, мне тридцать второй год, не ребенок.

Сейчас, наоборот, медсестры пытаются бодро уверить: «Пани Анна, вы еще споете», а я знаю, что нет. Знаю, что не спою, не выйду на сцену, к микрофону в студии записи. Сама себе дала слово, что если все же выкарабкаюсь, то буду петь только в храме, как когда-то обещала бабушке, но обещание не выполнила. Но, скорее всего, и этого не будет.

Просто после аварии мне свыше были даны еще десять лет, относительно «здоровых» лет, если можно назвать физическим

здоровьем переломанные кости, собранные на штырях, непрекращающиеся восстановительные упражнения и постоянную физическую боль. Я забыла, что значит «не больно», и если со стороны мои движения не выглядят движениями дряхлой старухи или робота, значит, удается обманывать всех вокруг, потому что каждый шаг, каждый жест до сих пор вызывают боль. Просто я научилась перебарывать ее, свыклась, загнала в тайные уголки, не позволяя показываться на глаза.

Правда, я не могу плясать на сцене, не делала этого и до аварии, но раньше хотя бы размахивала руками, теперь и это невозможно. Все познается в сравнении, это так. Сейчас даже жизнь с постоянной болью и преодолением этой боли кажется просто прекрасной, но подходит к концу и такая.

Говорят, что рак не любит света и воздуха. Напротив, очень даже любит, стоит начать операции, если стадия не начальная, как раковая опухоль, получив свою порцию света и воздуха, начинает разрастаться очень быстро. У меня началась череда операций, значит, конец близок.

Нет, не дело, получается слишком плаксиво, слезливо, жалостливо, а я никогда не любила, чтобы меня жалели. Даже сейчас жалость не нужна. Я не справлюсь, уже знаю, что не справлюсь, на сей раз судьба возьмет верх, но только физически, морально не сдамся. Боль – это внешнее, это физическое, а есть еще душевное и духовное, вот в этом я сумею победить.

Десять отвоеванных у судьбы лет не прошли зря, я стала настоящей певицей, родила сына и подружилась со столькими замечательными людьми! Хотела, чтобы на мои концерты ходили не из любопытства или жалости, не посмотреть на собранную по частям куклу, которая умудряется еще и петь, чтобы интересовались мной не как восставшей из пепла жертвой страшной катастрофы, а потому что нравятся мои песни, и добилась этого.

А то, что болезнь снова берет верх и теперь мне ее не победить, только добавляет ценности каждому оставшемуся дню, часу, минутке…

И сейчас мне важней не что было в моей жизни, а почему было, не как происходило, а зачем. Человек приходит в эту жизнь, чтобы чему-то научиться – любви, доброте, умению прощать и помогать, умению просто радоваться каждому новому дню, каждой прожитой минуточке. Обидно, что человек понимает это только тогда, когда минуточек остается невыносимо мало. И даже такое понимание на последних минутах дается, кажется, не всем.

Это тоже счастье – понять, зачем жила, зачем была, что должна была сделать и все ли сделала.

Меня то охватывает настоящее отчаянье, потому что почти ничего не успела, многое делала не так, как надо бы, то наплывает преступное безразличие, теперь уже ничего не успею, но все ясней пробивается другое: я должна еще совершить что-то очень важное, что до сих пор упустила. Должна успеть понять, что именно, и сделать это, иначе покоя не будет даже после смерти.

У человека внутри всегда есть понимание того, правильно или неправильно поступает, а еще, есть ли у него будущее. Любой самый безнадежный момент не безнадежен, если внутри есть вера в то, что это не конец. И наоборот, можно посреди внешнего благополучия вдруг почувствовать, что… дальше ничего нет.

Благополучия не было, как бы я ни держалась на сцене, ни делала вид, что все хорошо, организм после аварии не восстановился, постоянно болело все, переломанные кости реагировали на любое изменение погоды. Все трудней становилось улыбаться сквозь боль, улыбка бывала похожа на застывший оскал.

Сейчас остается только надежда, что после операций, удаляющих и удаляющих какие-то части моего организма (как когда-то добавляли и добавляли металлические штыри и болты, чтобы скрепить переломанные кости), все же останется хоть что-то, кроме этих железок, что позволит бывшей Анне Герман хотя бы сидя петь в церкви, в измученном, переполовиненном теле останется голос. Мне большего не надо, только видеть, как растет Збышек, и петь, пусть не на сцене и даже не перед микрофоном на записи, просто петь для людей и для себя тоже. Но, кажется, не будет и этого. Рак безжалостен, слишком мало тех, кого он выпускает из своих смертельных объятий.

Сейчас я при малейшей возможности напеваю на магнитофон, сил наигрывать на пианино уже нет, но голос еще слушается, проклятая болезнь не затронула его. Наверное, это единственное, что мне осталось – голос и слух. Даже когда от боли отказывала память и способность думать, оставался голос.

Все больше мучает вопрос: что же я не доделала, что не завершила, из-за чего меня «не отпускает»? Временами боль нестерпима и кажется, что уход из жизни был бы избавлением от мучений, но я снова и снова возвращаюсь к жизни, если мое состояние можно таковой назвать. И тогда возвращается этот вопрос. Вот решу его и уйду спокойно.

Мне будет нетрудно уйти, но только после того, как пойму что-то очень-очень важное для себя и своих близких.

Проклятая болезнь ограничила все возможности, я не могу

подолгу писать, даже думать подолгу не могу, остается тихонько напевать. Наверное, со стороны это выглядит сумасшествием – глушить невыносимую боль пением, но это единственное обезболивающее, которое мне осталось, другие не помогают.

Хватит жаловаться и стонать, так можно растратить последние силы, их осталось совсем немного, и они мне еще нужны.

Я жива, значит, я пою, я пою, значит, я живу! Пусть даже тихонько-тихонько, почти шепотом, на магнитофон или вообще для себя.

Удивительно, но оказывается, и молитвы можно петь, от этого они становятся проникновенней. Я отдаю Господу последнее, что у меня есть – мой голос, наверное, это нужно было делать раньше, но все случилось, как случилось, теперь не исправишь.

Это не книга воспоминаний. Я хочу и не хочу вспоминать свою жизнь.

Хочу, потому что в ней есть два моих любимых Збышека – сыночек и муж (вот как, маленький уже опередил большого!), есть мама, была бабушка, были и есть десятки умных, добрых, хороших друзей и просто знакомых, тех, кто мне помогал, поддерживал в труднейшие минуты и радовался моим радостям. В ней есть песня – моя любовь на всю жизнь.

Збышек-старший сделал все, чтобы я могла петь, он пожертвовал собой ради меня, моих песен. Я не могла назвать сына иначе как именем его папы.

Збышек-младший не любит, когда я пою колыбельную, требует «лучше про паровоз», вообще недолюбливает мои вокальные упражнения, просто потому, что когда мама начинает петь, это значит, скоро уедет. «Ля-ля-ля» для Збышека с самых первых дней сигнал о скором мамином отсутствии, а потому радости вызывать не может. Я очень боюсь, что у сына останется негативное восприятие песен, это плохо.

Обидно, что не увижу взросление своего сыночка, не увижу, каким он станет красивым юношей, не познакомлюсь с девушкой, которую приведет в дом, не понянчу его детей… Збышек обязательно будет стройным и видным парнем, он красивый мальчик, и у него будут красивые дети… Я немного завидую Збышеку-старшему именно из-за того, что он когда-нибудь возьмет в руки теплый комочек – сына нашего Збышека (или дочку), а малыш улыбнется дедушке беззубой улыбкой.

Это очень больно – уходить в сорок шесть лет, когда у тебя еще маленький ребенок, понимая, что оставляешь столько

проблем и забот родным людям…

Авария

Любые мои воспоминания, любой рассказ о моей жизни, любой серьезный разговор обо мне (даже если с сыном и на будущее) нужно начинать с нее – проклятой автокатастрофы, которая разорвала, искромсала мою жизнь.

Она не просто поделила жизнь на «до» и «после», а действительно изуродовала все. Даже сейчас, почти через полтора десятилетия, я погибаю от последствий той страшной ночи. Это как бежать по залитому солнцем и покрытому цветами лугу и вдруг упасть со всего размаха и очутиться в страшной темноте.

Именно так и было.

И с 1967 года по нынешний день я постоянно, ежедневно, ежеминутно доказываю всем и себе, что я справилась, что почти здорова, что сумела победить боль и преодолела все преграды, которые на моем пути выстроила жестокая судьба.

Не сумела, боль всегда была со мной и легкость, с которой я какое-то время держалась на сцене или у микрофона в студии давалась неимоверными усилиями, огромным количеством обезболивающих лекарств и капельками пота на висках.

А теперь судьба и вовсе взяла верх, не сумев сломить меня, устроив 49 переломов, в том числе позвоночника, она зашла с другой стороны. Рак… И надежды больше нет, нет компаса земного, никуда он меня больше не поведет.

И останется маленький Збышек наполовину сиротой…

Да, у него очень добрый и заботливый папа Збышек (я знаю, что Збигнев-старший прекрасный отец и со всем справится), бабушка Ирма, мои друзья не бросят, не оставят без помощи, но мамы у него не будет. Никто не споет ему больше мою «Колыбельную», которую он, кстати, не очень-то и любит. Я росла без отца, но для военного и послевоенного времени это было почти нормально, во всяком случае, привычно, а вот без мамы… Не представляю, как могла бы прожить без своей дорогой мамы Ирмы.

Что во всем виновато, в том, что я ухожу так рано, что поздно родила Збышека, что не смогла ему дать то, что дала бы мать в обычной семье?

Что тому виной, проклятая авария?

А в аварии что или кто виноват?

Я всегда думала, что Ренато, заснувший за рулем на скорости свыше ста пятидесяти километров в час. Конечно, он виноват, но почему-то он остался цел, а пострадала только я. Почему его судьба его сберегла, а моя меня наказала? Разве это не знак

свыше?

Я справилась, но, как оказалось, только на время. Я ни на секундочку не жалею о том, что делала все эти годы после аварии, но сейчас все чаще думаю, что делала что-то не то или не так, или просто не совсем так.

Однажды услышала фразу, что судьба забирает молодыми самых лучших и талантливых, чтобы уходили на взлете, а не на спуске. Разве что утешиться этим… Слабое утешение, потому что умирать в сорок шесть не хочется ни талантливым, ни бесталанным (я считаю, что бесталанных вообще не бывает, есть только те, кто не смог определить свой дар или не рискнул развить его вопреки жизненным условиям или преградам).

Впервые в Италии я побывала задолго до аварии, когда получила стипендию Министерства культуры и искусства Польши на два месяца стажировки в Риме.

Учиться в Италии… что может быть заманчивей для певицы, тем более не имеющей никакого певческого образования, кроме исключительно талантливых уроков исключительно талантливого педагога пани Янины Прошовской.

О, Италия чудесная страна, а итальянцы замечательные, хотя и несколько излишне импульсивные (мое сугубо личное мнение) люди. Но быстро выяснилось, что, как стажировать польскую эстрадную певицу, не имеющую ни одной «лишней» лиры, да и тех, что есть, для нормальной жизни в итальянской столице явно недостаточно, не знает никто. Оперных стажировали в том же «Ла Скала», эстрадным, конечно, могли давать уроки вокала, но платно, что для меня было невозможно.

Я так и не поняла, зачем министерство отправило меня в Рим, потратив, пусть и небольшие, но все же деньги. Может, надеялись, что, оказавшись в Риме, я переметнусь в оперу? Но для этого нужно куда более серьезное вокальное образование, многие эстрадные певцы не имеют никакого, едва знакомы с нотной грамотой, даже мелодии учат на слух, в опере такого нельзя, там никто не станет напевать арию, чтобы ты выучила.

Но дело не в том, я с нотной грамотой знакома, однако опера не мое. Интересно, как представляли в министерстве двухметровую каланчу на оперной сцене? Что я могла петь? Только Дездемону в последнем акте, лежа в кровати и подогнув ноги, чтобы за них не цеплялись за кулисами.

Тем более мне больше нравится эстрада, нравится репетировать и исполнять именно песни, видеть реакцию зрителей после каждой, слышать их реакцию (аплодисменты или редкие хлопки из вежливости, что тоже реакция).

Сначала Италия показалась сказкой, хотя я уже бывала там со студенческой делегацией. Но неделя под строгим приглядом и по строгой программе, где с получасовыми перерывами чередовались посещения музеев, встречи и дискуссии со сверстниками (все через переводчика), лекции по истории великолепной Италии, оставила ощущение только сумбура. Мы мало что запомнили, не сумев побывать ни в одном театре (Колизей был запланирован, «Ла Скала» и вообще Милан в обязательную программу не входили).

Теперь я надеялась не просто посетить знаменитый театр, но и хорошенько поучиться петь у итальянских мастеров эстрады, где же учиться петь, неважно оперному певцу или эстрадному, как не в благословенной Италии? А то, что мы должны лететь вдвоем с Ханной Гжесик из Люблина, искусствоведом, реставратором, которой тоже предоставили стипендию для стажировки на целых четыре месяца, делало поездку еще заманчивей. Ханна прекрасно разбирается в искусстве, она подскажет мне, что и где посмотреть, да и вообще, жить одной в чужом городе, чужой стране, плохо зная язык, трудновато.

Ханна тоже обрадовалась моему обществу, вдвоем всегда легче. Это так, окажись я в Риме одна с той крошечной суммой, которая имелась в распоряжении, вернулась бы в Польшу первым обратным рейсом, а если не хватило бы на билет, отправилась пешком через горы и долины.

Наверное, имей мы достаточно средств, стажировка действительно оказалась бы стажировкой, но с теми крохами, что сумело выделить министерство, два месяца превратились в простое пребывание в Италии.

Мы с Ханной как могли поддерживали друг дружку, это немаловажно, когда у тебя просто нет денег и друзей в чужой стране. Началось с того, что нас никто не ждал, чиновника, к которому следовало обратиться мне, просто не было на месте. Он не обязан сидеть и ждать, когда приедет начинающая певица из далекой Польши, чтобы заняться непонятно чем в Риме. У синьора много дел и без польки.

Решив, что Ханне обязательно повезет больше, мы отправились разыскивать ее организацию. Это оказалось не так легко и удалось только к вечеру. Но и ее чиновника на месте не оказалось, правда, его обещали быстро вызвать. Мы не подозревали, что такое у итальянцев «быстро».

Для чиновника оказалось вполне нормальным уехать домой на обед и не вернуться. И правда, не обязан же и он сидеть в ожидании страдалиц из Польши? Близился вечер, деваться было просто некуда, разве что заночевать прямо у какого-нибудь

фонтана. Мы мрачно шутили, что первые же сутки в Риме закончатся для нас в полиции.

– Зато там тепло и наверняка накормят ужином, – вздыхала Ханна.

Она не привыкла не ужинать. Для меня это не было проблемой, потому что нормально кушать во время гастролей практически не удавалось, мой желудок не протестовал, но одно дело остаться без ужина, и совсем другое – без ночлега, мы действительно могли попасть в полицию, тогда не то что в Италию, в соседний город больше не выпустят.

Я мысленно клялась себе никогда больше не совершать никаких зарубежных поездок не в составе какой-то большой группы. Пусть лучше галопом, пусть все из окна автобуса (знать бы мне, что накликаю – следующая поездка такой и окажется, я все буду видеть из окна автомобиля), но только организованно, чтобы не дрожать от страха, сидя на скамейке в Риме без денег и крыши над головой.

– А может, нам в польское посольство отправиться?

Верно, как мы могли забыть о существовании польского посольства в Риме?! Сразу полегчало, не испугал даже следующий вопрос: где оно находится.

В конце концов, можно спросить у полицейского.

Разыскивать посольство не пришлось, приехал чиновник, в ведении которого должна проходить стажировку Ханна, изобразил полнейший восторг при виде двух перепуганных и голодных польских девушек и в качестве компенсации за перенесенные страдания вызвался лично принять участие в поисках комнаты для нас.

Это было хорошее предложение, потому что денег ни у меня, ни у Ханны просто не имелось, оплатить проживание в съемной комнате за месяц вперед, как требовали хозяева, мы не могли, следовательно, нас никто не пустил бы даже на ночь.

Но, видно, чиновник не раз приводил постояльцев к синьоре Бианке, та приняла нас, безоговорочно поверив, что «деньги будут завтра». Интересно, на что рассчитывал синьор начальник, давая такое клятвенное обещание хозяйке квартиры, в одной из крохотных комнатушек которой мы поселились, ведь он мог говорить только о деньгах Ханны, а ей стипендию выплатили очень нескоро.

Выручила моя стипендия, мне выделили целых шестьдесят тысяч лир, что оказалось сущими грошами. На эти деньги можно было оплатить жилье и иногда автобус, но не больше. Продукты питания нам присылали из дома, если бы не эти посылки от мам, непонятно вообще, на что существовать. Интересно, знали ли в

министерстве, сколько стоит жизнь в Риме, а если знали, то на что рассчитывали, выделяя такую «роскошную» стипендию. В Польше мы могли подработать, даже просто подметая улицы по вечерам, а в Италии?

Конечно, мы не голодали, даже смеялись, что такая жесткая диета пойдет на пользу нашей стройности. Но оказалось, что полуголодное существование (маме я в письмах старалась не говорить о недостатке питания, шутила, что все польское вкусней, а потому посылкам очень рада, а еще рассказывала, что итальянцы сплошь едят спагетти, которые мне противопоказаны, потому что поправлюсь) не самое страшное.

Отсутствие денег на транспорт или театры мы смогли пережить, но было то, что не исправить никакими решениями похудеть или вытерпеть.

В Риме зимой, конечно, не морозно, температура выше нуля, но большинство итальянских домов попросту не имеет отопления. Есть лишь камины, и те в хозяйских комнатах. Полы каменные, стены тоже, на улице промозгло, а дома изо рта шел пар. И вода в кранах, в том числе и в ванной, только холодная.

Синьора Бианка относилась к нам неплохо, но в ее обязанности квартирной хозяйки вовсе не входило греть воду для двух неприкаянных полек, достаточно того, что она изредка позволяла нам приготовить что-то горячее.

Постепенно к первой части фразы «жизнь прекрасна» добавилась вторая – «дома».

Мы дружно заболели, красные и хлюпающие носы, а также температура не способствовали хорошему настроению. Подбадривая себя тем, что трудности способствуют закаливанию не только организма, но и воли, мы обзавелись теплыми носками (единственный «сувенир», который я позволила себе в Италии) и стали ложиться спать в одежде, а умываться, лишь слегка плеская в лицо ледяной водой.

– Ханна, как ты думаешь, полярники во время путешествий сильно зарастают грязью? Я хочу сказать, не будут ли видны наши немытые шеи уже через неделю.

Вопрос весьма актуальный, потому что мы прибыли в Рим вовсе не для того, чтобы сидеть в комнатке у синьоры Бианки, стуча зубами от холода, следовало действительно стажироваться.

Мы бы с удовольствием уходили из своего «холодильника», потому что в официальных помещениях было куда теплей, чем дома, только куда? Ханне занятие нашли, она все же прекрасный реставратор и позже даже участвовала в реставрации зданий во Флоренции, а вот куда пристроить эстрадную певицу, не знал никто.

Теоретически я была «приписана» к «Радио Итальяно», Карло Бальди, который шефствовал надо мной, сама любезность, но узнав, что я без гроша, был серьезно озадачен. Дело в том, что любые вокальные занятия стоили безумных денег, притом что выделенной стипендии едва хватало на оплату жилья. Никто из коллег синьора Бальди тоже ничего придумать не мог, Италия, конечно, песенная страна, но бесплатно учиться можно, лишь слушая вокализы на улицах.

Все, что могли сделать для меня бесплатно очень доброжелательные синьоры – показать «кухню» звукозаписи, то есть работу своих организаций изнутри. Прекрасно оснащенные аппаратные, отличные студийные помещения, блестящие специалисты своего дела, у которых я попросту болталась под ногами, страшно мешая… Несколько облегчили задачу улыбчивым синьорам две вещи: мои простуды и забастовка работников радио и телевидения. Они не были против, когда я пропускала какие-то дни из-за болезни или уходя вместе с подругой на экскурсии по музеям. У Ханны имелся пропуск, по которому нас пропускали обеих, бурно радуясь тому, что «юные польки интересуются настоящим искусством». Юными мы не были, но не спорили.

Пожалуй, если бы ни Ханна с ее страстным желанием увидеть каждое мало-мальски приметное здание в Риме, то есть попросту весь Рим, я вернулась бы домой много раньше.

Когда я вернулась в Варшаву, чиновник, делая отметку в моих документах, покачал головой:

– Всем бы так везло… Чему научились?

Мне бы промолчать, а я усмехнулась:

– Ничему. Чтобы учиться в Италии, нужно платить, а моей стипендии едва хватало на жилье.

Бровь чиновника медленно поползла вверх, и я поняла, что рискую испортить отношения с министерством навсегда и уже больше никуда не поехать, кроме маленьких местечковых клубов.

– Но поездка была очень полезна с точки зрения освоения итальянского языка. А еще я посмотрела Рим!

Я ничуть не кривила душой, действительно за два прошедших месяца мой итальянский серьезно улучшился (мы с Ханной очень старались практиковаться в языке, даже между собой разговаривая по-итальянски, как бы ни хотелось перейти на польскую речь), и Рим я тоже посмотрела.

Чиновник кивнул:

– Ну вот, а вы говорите ничему.

Я решила все же внести ясность, чтобы следующие за мной

стипендиаты не попались в ту же ловушку:

– В Италии учат скорее оперных певцов, чем эстрадных, а обучение вокалу там действительно платное.

Настроение у чиновника все же испортилось, он сердито буркнул:

– Без вас знаем.

Уточнять, зачем тогда меня отправляли, я благоразумно не стала.

И вот через два года, в 1966 году, когда у меня за плечами был уже серьезный опыт выступлений, гастролей и даже фестивалей (Сопот, Ополе, снова Сопот), раздался звонок, который я сначала приняла за розыгрыш, хотя говорили со мной по-итальянски.

Потом я еще опишу свои многочисленные поездки и участие в фестивалях, опишу, если позволит состояние здоровья, а пока все же Италия…

Мне предлагали трехгодичный контракт с миланской звукозаписывающей фирмой «Compania Discografica Italiana», причем предлагал не кто иной, как сам владелец фирмы синьор Пьетро Карриаджи. Через несколько дней он намеревался прилететь в Варшаву и приглашал меня подписать контракт.

Незадолго до того мне предложили контракт на запись пластинки западногерманской фирмой «Esplanade», который я все оттягивала. Что-то словно не пускало меня в ФРГ. Позже, закованная в гипс от макушки до пяток, имея предостаточно времени на размышления, я не раз думал о том, что было бы, решись я на тот контракт с немцами. Записала бы пластинку, снова ездила на гастроли, выступала на конкурсах, готовила новые программы, жила нормальной жизнью без боли и отчаянья.

Но я выбрала Италию с ее музыкальной культурой.

К тому же синьор Карриаджи так расписывал сказочные условия моего пребывания в Италии и особенно работы с его студией, уверяя, что легче перечислить звезд, которые не записываются в его компании, чем тех, кто это делает (одно имя Марио дель Монако чего стоило!), что не купиться на эти посулы было невозможно.

Почему молчали специалисты «Пагарта», отвечавшие за заграничные гастроли польских артистов, непонятно. Они-то должны бы знать, что такие звезды, как Марио дель Монако, не работают ни с одной определенной студией, а за свои записи с такой небольшой компании берут огромные деньги. Потому синьор Карриаджи и не назвал больше ни одного имени, что их не было, на других дорогих артистов у маленькой фирмы просто

не хватало средств.

Зато не очень опытная польская певица Анна Герман была им вполне по карману.

Я хорошо помнила свою предыдущую поездку, когда жила в холодной комнатушке и питалась посылками из дома, а потому, услышав, что будут созданы все условия и все организовано, решила, что это судьба посылает мне компенсацию за предыдущие холодные дни в Риме.

Кроме любви к Италии, ее музыкальности и желания стать известной и там, была еще одна причина моего согласия отправиться в Милан. Итальянцы предлагали хорошие деньги (по моим тогдашним меркам) и содержание, что давало возможность купить квартиру маме и бабушке во Вроцлаве (Варшава все равно мне оставалась не по карману).

Смешно, впервые в жизни я погналась за деньгами, это действительно так, потому что просто петь и набирать популярность можно и в Польше, и в СССР. Но гастроли и там, и там оплачивались не слишком щедро, фестивали вообще дело не доходное, а затратное, и предложение синьора Карриаджо казалось выходом из безвыходной ситуации.

Я спешу, потому что неясно, сколько еще смогу бороться за жизнь и просто писать, а потому то, что уже было описано в книге «Вернись в Сорренто?» можно пока не повторять, когда-нибудь, если останутся силы, я попробую заново вспомнить свои забавные (и не очень) приключения в качестве «звезды» в Италии.

Жизнь звезды, особенно восходящей и не имеющей средств, не так уж заманчива и приятна, в ней очень много огорчений и даже унижения, и если бы не контракт с его штрафными санкциями, я вернулась бы домой еще раньше и не в гипсе.

Но об этом потом, а пока о самой аварии и о том, как ее пережить.

Скажу только коротко, что долгое время в Милане я не пела, а лишь позировала, фотографировалась и давала бесчисленные интервью. Даже шутила, что если бы не участие в конкурсе в Сан-Ремо, вообще забыла, что такое ноты. Зачем все эти интервью? Это была рекламная акция, меня сначала «поднимали в цене», объясняя итальянцам, что я самая певучая из певиц.

По мне так лучше бы просто петь, гастролируя даже по маленьким городкам, так меня услышали бы живьем, и сами поняли, певучая ли я.

Но я не имела права на споры с владельцем студии и сопровождающими, я вообще ни на что не имела права. Даже платья приходилось отстаивать почти с боем, спасал только мой

рост, итальянки обычно гораздо ниже, а потому немыслимые наряды, которые мне подбирали в ателье и которые мне просто не шли, несмотря на всю их элегантность и экстравагантность (обычно больше второе), оказывались малы, коротки и потому неприемлемы. Как и обувь, ведь у меня 40-й размер, итальянки не носят таких больших туфель.

Это был бурный, очень бурный год. Я меньше гастролировала по самой Италии и куда чаще участвовала в разных конкурсах, съемках телепередач, даже фильма, получала награды и должна бы радоваться жизни. Я радовалась, но куда больше мне хотелось просто петь, не соревнуясь с кем-то, не пререкаясь с конферансье (бывало и такое, итальянцам часто не давал покоя мой рост), не тратя время и силы на околопевческую ерунду. Я пишу, не красуясь и не демонстрируя свой альтруизм, я приехала в Италию ради заработка, какой уж тут альтруизм! Но мне действительно легче и приятней просто спеть, чем давать интервью, объясняя, как я стала певицей и как надеюсь, что мой польский акцент в итальянском не помешает слушателям понять неаполитанские песни в моем исполнении. Я хотела петь и приехала петь, а не демонстрировать достижения итальянских дизайнеров одежды, я не фотомодель, не умею изображать счастье, когда мысли заняты другим.

Потому когда, наконец, было разрешено делать то, ради чего я приехала в Италию, радости не было предела. Наконец-то! Мне все равно, велики ли залы, проводит ли съемки телевидение, много ли репортеров, я хотела петь и пела, причем перед особой публикой – неаполитанцами, например, теми, кто вместо первого крика берет несколько нот, а первое слово «мама» произносит напевая.

Итальянцы принимали меня прекрасно.

Мы возвращались после концерта в Форли. Небольшой городок, прекрасная, душевная публика, теплый концерт, даже не концерт, а общение с публикой, когда выступление проходит под открытым небом, а слушатели танцуют и подпевают, если песня понравилась.

Я должна была исполнить двенадцать песен, но сколько спела, не смогла бы подсчитать. Выступление началось в районе двенадцати ночи, обычно в таких случаях публика танцует, но тут танцы прекратились, все собрались ближе к эстраде и принялись подпевать. Просили исполнить песни Сан-Ремо, кто-то даже знал мои польские песни. Это было прекрасно!

Закончили около часа ночи, перепев все, что только можно.

Хотелось из озорства исполнить, например, «Катюшу» или еще какие-то советские песни. Пожалуй, я бы так и сделала, но сопровождавший меня Ренато торопил:

– Достаточно, ты и без того слишком долго развлекаешь публику.

Как ему объяснить, что это не труд, не работа, это удовольствие – петь для таких отзывчивых слушателей и вместе с ними?

Я очень устала и надеялась хоть немного поспать, потому что утром нам надо отправляться в Милан, но не тут-то было. Оказалось, что гостиница в Милане уже оплачена, а оставшись до утра в местной, за нее следовало бы тоже платить. Такой лишний расход казался Ренато безответственным, и он решил ехать в Милан ночью.

Почему я не воспротивилась категорически, тем более зная, что он не спал и предыдущую ночь, потому что ездил к родным в Швейцарию? Понадеялась или просто не подумала об опасности.

Обычно Ренато экономил на всем, например на дорогах. Хорошие автострады в Италии платные, и если можно объехать платный участок или вообще добраться куда-то бесплатно, пусть и разбивая машину, Ренато предпочитал не платить. Я пыталась намекнуть, что он больше теряет, гробя на плохой дороге подвеску автомобиля, но переубедить в чем-то итальянца дело невозможное, а потому бессмысленное. Поэтому оставалось только трястись по ухабам, мысленно чертыхаясь и стараясь не прикусить язык.

На сей раз Ренато поступил крайне непривычно, он выбрал автостраду, то есть платную дорогу. Вообще-то это спасло лично мне жизнь, потому что, случись авария где-то на малопроезжей дороге, нас могли бы не скоро заметить. А может, наоборот, ничего бы не случилось, убедившись, что ехать невозможно, Ренато просто остановил бы машину и мы прикорнули прямо в ней?

Не знаю, но случилось то, что случилось.

Я видела, что он сонный, клюет носом. Стало страшно, что, если заснет прямо на ходу, за рулем? Я была возбуждена после концерта, хотелось обсудить, что итальянская публика приняла меня, что все получается хорошо… Кроме того, болтая с Ренато и заставляя его отвечать, пусть даже односложно, я не позволяла ему дремать.

Самым разумным было бы все же остановить машину, потребовать, чтобы он прижался к обочине и хоть немного поспал. Почему я этого не сделала?!

Последнее, что я почувствовала – машину подбросило.

Мелькнула мысль, что мы в темноте на что-то наскочили, что Ренато кого-то задавил. А потом меня охватил панический ужас от того, что мы можем заживо сгореть в машине.

А потом наступила темнота…

Я не помню первое ощущение после того, как пришла в сознание, но понимаю, что это тоже должен быть ужас, потому что я не могла пошевелиться. Вообще не могла.

Ренато все же заснул за рулем, и утром разбитый вдребезги красный «Фиат» обнаружил водитель проезжавшего по автостраде грузовика. В машине без сознания лежал Ренато.

Вызвали полицию, потом «Скорую», его увезли в больницу. У парня оказались сломаны нога и кисть руки. Говорят, придя в сознание, он поинтересовался, как чувствую себя я.

Врачи удивились:

– В машине никого, кроме вас, не было.

Тогда Ренато объяснил, что в машине была пассажирка – певица Анна Герман.

Вернувшись на место, полицейские и медики даже не сразу смогли меня найти, от удара я оказалась выброшена через переднее стекло далеко в сторону. На мое счастье, я была без сознания, потому не чувствовала ни немыслимой боли от 49 переломов, в том числе и позвоночника, ни холода, ни ужаса одиночества на пустой дороге…

У меня оказалась сильнейшая потеря крови. Теперь я вполне могу считать себя итальянкой, потому что большая часть крови, которая во мне есть, это кровь итальянцев, потому что моя собственная осталась в той самой канаве, где я пролежала почти до середины дня после аварии. Юлиан Тувим однажды сказал, что национальность человека определяется не тем, какая кровь течет в его жилах, а тем, какую из этих жил удается выпустить. Если так, то раньше я была полькой, а теперь итальянка.

Надежды на то, что находившаяся в коме пострадавшая из этой самой комы выйдет, не было никакой. Маме со Збышеком за один день оформили паспорта и визы в Италию, потому что официальное заключение гласило: «Состояние безнадежное».

Говорят, впервые я отреагировала на свет через семь дней, и даже попыталась что-то сказать. Но в действительности пришла в себя только через двенадцать дней. Но даже тогда жизнью это вряд ли можно назвать. Во-первых, я была полностью неподвижна, даже глазами пошевелить больно, а уж о любом другом движении не могло идти речи. Во-вторых, я с трудом узнала даже маму и Збышека, об остальном нечего и говорить.

То, как меня собирали по кускам и долго-долго помогали восстанавливать способность двигаться, я подробно описала в книге «Вернись в Сорренто?». Могу только добавить, что никакого света в конце туннеля или своего «возврата» я не видела, как и собственного тела, распростертого на земле или на операционном столе тоже. Возможно, просто потому, что положение было слишком тяжелым.

Но на том свете меня не приняли, отпустили попеть еще на этом.

Когда отключили искусственное дыхание и позволили дышать самой, впервые прозвучало:

– Жить будет.

И тут же добавление:

– Петь нет.

Тогда я не понимала, что значит петь, выныривая на краткие мгновения из объятия нечеловеческой боли в относительно сознательное состояние, не вспоминала, кто я, знала только одно: женщина, чье лицо склонилось надо мной, моя мама. Этого было достаточно, чтобы понимать, что я жива. И пока она держит в своих руках мою не очень пострадавшую правую руку (левая была абсолютно неподвижна), я не уйду в тот мир, я живу.

Словно чувствуя, как мне это нужно, мама держала. День и ночь, ночь и день. Я не знаю, как и когда она спала, когда ела и ела ли вообще, как она сама выжила эти пять месяцев, откуда взяла силы не просто быть рядом, но и выдерживать мои истерики.

Да, таковые были, я ведь не героиня, я обычный человек, у которого сознание, что велика вероятность в тридцать один год стать полным инвалидом, неподвижной, как называла мама, «сломанной куклой», не отвлеченное понятие, а кошмарная реальность, не могло не вызвать отчаянья.

Пять месяцев кошмара, не только и не столько из-за нечеловеческой боли, но и от отчаянья. Пролежни из-за неподвижного положения, атрофированные мышцы, кровавые рубцы от гипса, сдавление грудной клетки… «сломанной кукле» временами казалось, что избавление от всего этого кошмара одно – забыться вечным сном. Но мамины пальцы слегка сжимали мои, и я снова и снова выныривала из объятий отчаянья, цепляясь за жизнь.

Самой мучительной оказалась невозможность нормально дышать. У меня сами по себе легкие достаточного объема, к тому же разработаны вокальными упражнениями, а тут гипс, который стискивал грудную клетку настолько, что ни пить, ни есть, ни даже просто вдохнуть хотя бы вполовину объема невозможно. Я

задыхалась, начинала паниковать, метаться, особенно во сне, маме приходилось успокаивать и успокаивать меня.

Сны были только ужасными, мне снилось, что меня завалило в какой-то шахте или что я забралась в пещеру, лаз при этом сужался и сужался, а выбраться обратно возможности нет, но и пути вперед тоже, а стены лаза все сжимаются, и дышать уже невозможно.

Во время университетской практики мы бывали в настоящих шахтах и действительно добирались до своих мест ползком, я помню эту замкнутость черного пространства. Шахтерами могут быть только люди с очень крепкими нервами, очень выносливые и бесстрашные, потому что тысячи тонн породы и земли ощутимо давят даже там, где можно подняться в полный рост.

А еще я и впрямь занималась в секции спелеологии и лазила в пещеры и узкие, очень узкие для моего крупного тела, ходы.

Неудивительно, что этот опыт всплывал в моей памяти по ночам из-за невозможности дышать.

Закованная от ушей до пяток, я умоляла снять этот чертов гипс под мою ответственность, соглашаясь даже остаться кривобокой, нежели терпеть адовы муки. Пять месяцев быть мумией, не способной не только пошевелиться, не просто терпящей невыносимые боли, но еще и почти потерявшей память.

Врачи и медсестры убеждали меня потерпеть и лежать спокойно, чтобы нормально срослись кости и я смогла выйти на сцену в Сан-Ремо прямой и красивой, обещали болеть за меня у своих телевизоров, чтобы смогла победить певцов со всего мира… А я смотрела на них и не понимала, о чем идет речь. Я забыла, кто я!

По-моему, первой догадалась о моей потере памяти мама, но она не бросилась к врачам, а принялась бороться за мой разум своими методами. В палате зазвучали мои песни, мой голос. Честное слово, впервые услышав саму себя, я ничего не поняла, только что-то показалось до боли знакомым, нет, не голос – текст. Откуда-то я помнила эти слова…

– Вот снимут гипс… разработаешь свои легкие заново… снова будешь петь…

Слушая спокойный мамин голос, я начинала верить в то, что это когда-нибудь случится. Пределом моих чаяний тогда было вдохнуть полной грудью, просто подышать. О том, что я когда-то встану и пойду, вообще не думалось.

В тесном гипсе невозможно не только дышать, переведя меня на обычное питание, врачи обрекли меня на настоящий голод, потому что пара глотков молока, которые мама буквально закапывала мне в рот, казались пределом возможностей. Больше

просто не проходило через мое закованное горло, а кашлять нельзя, как нельзя и все остальное – чихать, громко или долго разговаривать, дышать…

А вот жить можно, только как?!

Я все время пишу вот это «я страдала», «я мучилась», «я терпела»… Это неправильно, не меньше страдала, терпела и мучилась моя мама. Конечно, она не переносила (и слава Богу!) таких болей, как я, не мечтала сделать хоть один вольный вздох. Но неизвестно, что хуже – страдать самой или видеть, как мучается твой ребенок, и не иметь возможности помочь, облегчить его мучения. Когда у меня родился Збышек, я хотя бы частично осознала, что это такое – не иметь возможности помочь своему ребенку, даже если он уже не дитя.

Нет, Збышек-младший не болел, он спокойный и крепкий мальчик, но даже мучения малыша, когда у него резались зубки, доставляли нам со Збышеком-старшим массу страданий. Представляю, каково было маме, когда я умоляла избавить меня от невыносимых болей любой ценой, даже ценой кривобокости и уродства. Каково ей было понимать, что я действительно могу остаться калекой навсегда, даже неподвижной калекой, к тому же не помнящей, кто я и кто вокруг меня, как ей дались эти месяцы.

Должен существовать орден самоотверженных матерей, даже не матерей, а просто людей, которые помогли другим преодолеть вот такой ужас безнадежности. Да, в больницах очень заботились обо мне, помогали, но это еще и по долгу службы, а мама из материнского сострадания. Без нее я так и осталась бы лежать бревном в какой-нибудь клинике, пока не сгнила бы от пролежней.

А еще рядом был Збышек. Это безмерно радовало и… огорчало одновременно.

Когда я стала узнавать родных и понимать, кто вообще такая, именно Збышек часами проигрывал мне мои же записи, помогал заново учить тексты, вселяя надежду, что это пригодится.

Но само его присутствие создавало для меня проблемы. Я могла попросить маму о чем-то совершенно личном, о какой-то гигиенической процедуре, ведь сама была совершенно обездвижена, а как попросишь Збышека поправить что-то под пролежнем? Даже просто смочить губы водой. Зачем я ему такая – инвалид, который если и встанет, но едва ли сможет жить нормальной жизнью?

Збышек еще молод, силен, красив, он толковый инженер, его ценят на работе, зачем ему рядом калека? Я понимала, что отказаться от меня тогда, когда я лежала неподвижно, сродни

предательству, на которое Збышек не способен. Он честный, он верный, не бросит, будет всю жизнь возиться с калекой, подавая воду и покупая лекарства, но я-то понимала, что это нечестно по отношению к нему, что самим своим тогдашним калечным существованием порчу Збышеку жизнь.

Постепенно крепло решение самой разорвать наши отношения, сказать Збышеку, что он свободен. Вот только вернемся в Польшу, и скажу, обязательно скажу.

Ни о каком возвращении «сломанной куклы» не могло быть и речи, сложенные кости должны срастись, прежде чем возможно хоть какое-то изменение положения, но мечта о возвращении домой даже в этом чертовом гипсе крепла с каждым днем.

Обо мне заботились в итальянских госпиталях (я успела полежать в трех), «сломанную куклу» действительно собрали из кусков, сложили в гипс, но для восстановления нужно было время, очень много времени. Постепенно, очень медленно восстанавливалась память. Я очень боялась кого-то обидеть, попросту не узнав, такое часто бывало, неудивительно, ведь сильнейшее сотрясение мозга и болевой шок еще никому не добавляли умственных способностей и не улучшали эту самую память.

Я стала вспоминать, но фрагментарно, отдельные события, отдельные слова, фразы, музыкальные отрывки. Сколько же сил и выдержки понадобилось маме, чтобы терпеливо соединять эти обрывки в единое целое, успокаивая и успокаивая меня. При этом она должна не перестараться, помогать мне, но не превращать в настоящую куклу, поддерживать, но не лишать самостоятельности (смешно говорить о самостоятельности человека, закованного в гипс от ушей до пяток), вселять уверенность, но не обнадеживать зря. И помогать, помогать, помогать.

Мама все смогла, она забыла о себе и жила только моими проблемами.

Я ничего не слышала о Ренато, даже не знаю, приходил ли он проведать меня, когда встал на ноги сам, я его не помню. Знаю одно: я поклялась больше никогда не приезжать в Италию, никогда! И всем сердцем стремилась обратно в Польшу, казалось, там и воздух другой, который сам по себе поможет мне.

О возвращении заговорила сразу, как только стала сознавать, кто я и что случилось.

Вела подобные разговоры с врачами и мама. Лечение стоило дорого, безумно дорого, было ясно, что мы сумеем законно получить с фирмы компенсацию, поскольку я пострадала не во

время отдыха или по собственной неосмотрительности, а поневоле, но это потом, а сначала надо оплатить счета.

Мама откровенно сказала врачам, что у нас нет средств на длительное лечение, а в Польше меня будут лечить в государственной клинике.

Но как везти эту самую гипсовую куклу, если малейшее неосторожное движение могло вызвать болевой шок? И все-таки решено рискнуть. Я готовилась к перелету так, словно от него зависела сама жизнь, как к избавлению, как к празднику, хотя уже прекрасно понимала, сколько боли вынесу и сколько неудобств доставлю всем вокруг себя.

Салон первого класса самолета польской авиакомпании был переделан для одного-единственного полета. Нет, его не меняли конструктивно, просто сняли несколько кресел, чтобы удобно устроить гору гипса, внутри которого находилась я. «Пагарт» прислал в Болонью, откуда меня перевозили в Варшаву, врача, который должен мне помочь перенести тяжелый перелет. Помогали все, кто мог, экипаж самолета в шутку обещал огибать все воздушные ямы, чтобы не трясло.

Мне кажется, даже боль стала не такой невыносимой, как только шасси оторвались от бетона взлетной полосы в Италии. Я возвращалась домой, и неважно, что во мне почти вся кровь итальянская, что именно итальянские врачи сумели собрать меня заново (я им безмерно благодарна за это и за выхаживание, но больше испытывать их заботы на себе не хочу), что моя родина далеко-далеко в СССР, это действительно была дорога домой.

В Польше начался следующий этап, еще три клиники, каждая из которых вносила свою лепту в мое возвращение к жизни.

Я плакала и просила снять гипс хотя бы с грудной клетки, чтобы дышать легче, ведь все это время невыносимо страдала от настоящего кислородного голодания, хотя мне время от времени и прикрепляли к носу трубочку для дыхания. Казалось, мои легкие уже никогда не расправятся, не смогут работать даже не как у певицы, а просто как у обычных людей.

Пять месяцев гипса, страшные пролежни (отмирание неподвижной, сдавленной ткани), постоянно в одном положении, атрофировались мышцы, даже те, что не пострадали, казалось, еще немного и разучатся работать неподвижные суставы. Вот тогда я и впрямь превращусь в настоящую куклу.

Наконец, мне пошли навстречу, сняли гипс с грудной клетки, заковав левую часть и спину в более жесткую форму. Помню настоятельный совет:

– Только не пытайся вдохнуть полной грудью, у тебя отвыкло

все – легкие, ребра, голова… Весь организм отвык получать воздуха вдоволь, не нагружай его сразу. Дыши по чуть-чуть, с каждым вдохом просто увеличивая объем.

Это может понять только тот, кто через такое прошел. У меня исчез жесткий панцирь на груди, свершилось то, о чем я столько времени мечтала, а я должна сама себя ограничивать в возможности дышать.

Каюсь, нарушила запрет, не послушала совет и… снова резкая боль (ребра-то сломаны), снова ужас, на сей раз от того, что в нехватке воздуха виноват не гипс, а внутренние переломы. Так и было, но в ту минуту мне показалось, что это навсегда, что я уже никогда не вдохну нормально.

Хорошо, что рядом мама, она, видно, догадалась о моей попытке, снова взяла за руку:

– Анечка, вспомни, что говорил доктор, дыши потихоньку, всему свое время. Гипс частично сняли – и то хорошо.

Возможно, она говорила вовсе не это, просто успокаивала, но один ее голос, прикосновение действовали благотворно.

– Збышек, нам нужно серьезно поговорить. Я безмерно благодарна тебе за поддержку, за то, что не оставил меня в такую трудную минуту, что помог даже просто вспомнить, кто я и что могу… могла раньше. Благодарна за то, что не оставил без помощи маму, ей бы одной со мной не справиться. Но теперь, когда я уже в Польше, ты свободен.

Неизвестно, что будет дальше, я могу остаться калекой навсегда, не смогу работать, буду обузой. Быть обузой для своей мамы – то одно, но мы с тобой даже не женаты, ты свободен. Ты замечательный, ты еще встретишь красивую и здоровую девушку, у вас будут дети, ты будешь счастлив.

Я понимаю, что сам ты меня не бросишь, считая это предательством, потому отпускаю тебя сама. Так я решила, Збышек, благодарю за все и давай останемся друзьями. Будешь навещать меня иногда, когда разрешат посещения….

Эту речь я мысленно репетировала десятки раз, лежа ночью без сна. Убеждала и убеждала Збышека, а по сути, себя, что он вовсе не обязан возиться с калекой, что этим я ломаю ему жизнь, что Збышека нужно отпустить, нет, даже прогнать, сам он не уйдет.

Он честный, он настоящий, а потому будет считать себя обязанным возиться со мной всю оставшуюся жизнь. Но это будет означать, что жизни не будет у него самого. Ломать ему судьбу я просто не имею права. И то, что он мучается рядом со мной, не

меньше физической боли мучает меня саму. Збышек достоин счастья, и он его должен обрести.

Тысячу раз я прокручивала эти слова в голове в разных вариантах, подбирая самые убедительные, так, чтобы не обидеть, но и внушить мысль, что его уход вовсе не предательство. Отрепетировала лучше, чем любое выступление.

И вот…

– Збышек…

Я говорила сбивчиво, все заготовленные фразы улетучились, речь получалась сумбурной, но главное я до Збышека все же донесла: я отпускаю его с великой благодарностью. Он вовсе не обязан гробить свою жизнь на калеку, которая неизвестно встанет или нет, должен встретить свое счастье и остаться мне просто другом.

Он выслушал все спокойно, от этого спокойствия меня охватил ужас, неужели Збышек и сам пришел к такому же решению?! Неужели он все обдумал и просто не знал, как мне сказать?

– Аня…

Дальше говорил он. Также спокойно, словно тоже давно все обдумал и для себя решил. Я не помню слов, да едва вообще их понимала, зато поняла смысл: он не надеялся делить со мной только радость, и в трудные дни рядом не потому, что считает себя обязанным делать это, а потому, что очень хочет вытащить меня обратно в нормальную жизнь, а еще… надеется, что у нас будут дети…

– И больше не смей вести подобные разговоры. Будем считать, что тебя на это вынудила боль, а вовсе не желание от меня отвязаться.

Я задохнулась и без гипса. Збигнев тоже для себя все твердо решил, но совсем иначе, чем решила за него я. Збышек решил вытащить меня в нормальную жизнь!

Слезы градом катились из моих глаз…

– Эй, гипс размочишь. Аня, ты главное, что у меня есть. Как я могу оставить это главное валяться в гипсе? Все будет хорошо, может, не сразу и не так легко, как хотелось бы, но будет. Между прочим, тебе тут куча новых телеграмм и писем.

Телеграммы и письма действительно приходили со всех уголков Земли, очень много писали из СССР. Все желали скорейшего выздоровления, уверяли, что я со всем справлюсь, что нынешние врачи совершают чудеса, что я еще выйду на сцену и буду петь.

Господи, знали бы, как мне самой этого хотелось.

Когда произошел тот перелом, после которого я начала думать не о возможности просто вздохнуть или пошевелить рукой, а действительно выйти на сцену? Не знаю, не помню, да это и неважно. Вся левая сторона не работала – плечо, локоть, кисть руки, тазобедренный сустав, колено, стопа – все было не моим. Ладно бы просто не слушалось, так ведь нужно, чтобы срослись кости, чтобы окрепли суставы, потому что сначала их невозможно нагружать.

А потом, когда все наконец срастается, оказывается, что мышцы и суставы «забыли» как работать, а сдавленные ткани попросту отмерли.

Ко мне пришел новый врач, долго осматривал левое плечо, вернее, руку у плечевого сустава, сокрушенно качал головой. Мне не было сказано ничего, мол, очередной пролежень, но я услышала обрывки фраз, когда лежала с закрытыми глазами, делая вид, что сплю. Опухоль… может перерасти… саркома…

Хорошо, что тогда я понятия не имела, что такое саркома. Или плохо, потому что потребовала бы вырезать проклятую вместе с половиной руки, вырезать, пока она мала, пока с ней можно справиться.

Но анализы показали, что опухоль не злокачественная, и ее оставили в покое, вернее, вырезали, но не под корень. А зря, потому что доброкачественные имеют нехорошее свойство, затихнув, потом превращаться в злокачественные. Эта зараза словно ждет, когда человек и его врачи потеряют бдительность, чтобы начать новую атаку.

Моя начала через десять лет и во второй раз оказалась сильней любых усилий медиков. Тогда с ней можно было справиться, теперь – нет, хотя врачи бодро утверждают, что смогут и все снова будет хорошо.

Но тогда, ободренная снятием гипса и возможностью хотя бы дышать, я мечтала о возвращении к почти нормальной жизни как можно скорей. Врачи убеждали не спешить, уверяли, что самое главное для моих переломанных костей – спокойствие и неподвижность. Однако слишком долгая неподвижность могла привести к отмиранию мышечной ткани.

И как только стало возможно, началась разработка мышц и суставов. Мое тело начали приучать к вертикальному положению. Это вовсе не попытки поставить на ноги и отойти с готовностью броситься на помощь, если начну падать. Нет, существует такое немыслимое приспособление – стол, на котором пациента закрепляют ремнями и все приспособление начинают переводить в вертикальное положение. Снова адская боль, потому что

ломаные кости не желают принимать вертикальную нагрузку.

А левая нога на вытяжке, иначе нельзя, здоровенная гиря держит ее в одном, очень неудобном для меня, положении. Хорошо, что вытяжка длилась всего по несколько часов, а не круглые сутки, потому что лежать вниз лицом без возможности даже повернуть голову вообще невыносимо.

Я вовсе не жалуюсь, не стараюсь выглядеть героиней. Если кто и герой, так это те, кто был рядом со мной все эти месяцы, прежде всего мама и Збышек, итальянские и польские врачи и медсестры, нянечки, просто хорошие люди, мои друзья, которые постоянно приходили навещать, как только им это позволили, те, кто писал письма, присылал свои советы, пожелания…

Мое искалеченное тело без их помощи ни за что не вернулось бы к жизни.

Я прошла через это единожды (и больше не желаю!), а те, кто помогает вот таким покалеченным, видят страдания каждый день. Я часто думала о том, каким надо обладать запасом сердечности и стойкости одновременно, чтобы, видя мучения пациента, понимая, что он испытывает сильнейшую боль, требовать от него усилий, иногда запредельных.

Как я благодарна тем, кто не делал послаблений, кто не жалел показной жалостью, а старался помочь стать нормальной, ну, почти нормальной.

Слезы из глаз градом, на лбу пот, но доктор качает головой:

– Еще раз, пани Анна. И не отлынивайте.

Слезы у человека бывают разные. Можно плакать от обиды даже на несправедливую судьбу, плакать от жалости к себе, из каприза, отчаянья, а можно от боли. Есть слезы, которые просто не сдержать, они брызжут из глаз, потому что малейшее движение причиняет немыслимую боль. Вот таких я не стеснялась, а еще не стеснялась слез облегчения, когда что-то удавалось, несмотря ни на какие терзания, я плакала счастливо. И врач делал вид, что не замечает этих слез.

Меня «отпустили» домой всего на десять дней. Обещала вернуться и не вернулась, думаю, врачи понимали, что так и будет, просто наступает время, когда пребывание в больнице идет уже во вред больному. А не на пользу. Наверное, у каждого есть такой срок (желаю никому и никогда не выяснять его продолжительность).

«Отпустили» явное преувеличение, потому что это снова были носилки и неподвижность, просто делать физические упражнения я должна была дома под присмотром приходящих ежедневно врачей и Збышека. Мама просто не могла смотреть, как я обливаюсь потом и слезами, заставляя свои мышцы работать, а

вот Збышек наоборот, он деловито приглядывался, словно рассчитывая запас прочности моих костей и мышц, прикидывал, что еще нужно «подкрутить», чтобы кукла смогла двигаться полноценно. Это было смешно и одновременно заставляло стойко терпеть боль.

Я не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто я героиня, победившая боль и неподвижность. Если что-то и нужно вынести из этого сумбурного рассказа, так это уверенность, что такое возможно, что можно одолеть сорок девять серьезных переломов, что врачи способны собрать кости пациента из кусков и помочь буквально встать на ноги. Только для этого сам пострадавший должен очень-очень хотеть встать.

В моем возвращении к жизни только половина заслуг мои, даже меньшая половина, большая – тех, кто меня «собирал», скреплял, выхаживал и заставлял не бросать начатое посередине.

Если рядом с вами оказался человек в таком кошмарном или просто тяжелом положении, не оставляйте его наедине с мрачными мыслями, не позволяйте себя жалеть, сдаться, отступить, помогите сделать все возможное и даже невозможное, что способно вернуть человека к обычной жизни. Может, именно ваше единственное слово окажется тем самым решающим, что поможет ему.

Меня, кроме моих собственных усилий, вернула к жизни поддержка мамы, Збышека, медиков и тех, кто присылал письма и телеграммы.

И очень хорошо, что те, кто был рядом со мной, не произносили пафосных слов о моем героизме, о том, что я живой пример для других, они просто и буднично говорили: «Ты сможешь, а значит, должна» – и протягивали руку помощи.

Не знаю, что там думал Збышек, но он вел себя просто идеально – не замечал назревающих истерик, не обращал внимания на слезы, но при этом был очень внимательным и настойчивым. Мама жалела, помогала, поддерживала и морально, и физически, Збышек просто «брал за руку» и вел вперед через весь кошмар, словно так и нужно, словно ничего страшного в моей калечности нет, это надо пережить, перебороть.

Вот это замечательно, потому что иногда от отчаянья хотелось даже не плакать, а выть, зарывшись лицом в подушку. И я выла, пока мама гладила меня по голове. Как маленькую. Но приходили Збышек или врач, и все вытье прекращалось.

– Не жалейте себя, пани Анна. Если хотите снова ходить и петь, то не жалейте.

– Я смогу петь?!

У молодого доктора изумленный вид:

– А что, врач-отоларинголог сказал, что повреждены связки?

– Нет… Связки не пострадали вообще.

– Тогда в чем дело? Ах, в этом? – кивок на груз вытягивания. – Так это временно, срастутся же когда-нибудь ваши кости. И мышцы разработаются. Как скоро – зависит от вас. Торопить нельзя, но и жалеть себя тоже.

Я буду петь! Как хотелось просто выйти на сцену! Любую, пусть самую маленькую, пусть даже без зрителей и спеть…

Когда сняли гипс, изменилось мало что, ведь двигаться я все равно не могла. Но сознание, что на мне нет этой чертовой тяжести, что я просто лежачая больная, но не загипсованная, уже радовало.

Быть дома, пусть не в своей личной квартире, но там, где пахнет жильем, а не лекарствами, – это счастье. Тогда мне казалось, что я пропахла лекарствами на всю оставшуюся жизнь, что этот запах уже никогда не выветрится из моих коротко остриженных волос, из моей кожи…

Я представляла собой малоприятное зрелище – тощая, серая, с бесконечными синяками и рубцами от гипса, с множеством шрамов из-за операций, я словно состарилась на десять лет. Но я жила и уже могла двигаться. Пусть ограниченно, пусть всего лишь шевелиться, но уже могла! И я дома, это тоже счастье.

А еще счастье в том, что даже для лежачей больной нашлось занятие. Это тоже очень важно, когда человек ограничен невозможностью встать с постели, ограничен во всем, он не должен чувствовать себя куклой и обузой, у него должно быть какое-то дело.

У меня было даже несколько, правая рука, к счастью, действовала, это позволило писать письма многочисленным корреспондентам. Проблема, потому что обессиленный организм не мог совершать такие «подвиги» подолгу, к тому же писать, уткнувшись носом в подушку, пока лежишь на вытяжке, тоже не слишком удавалось, я рисковала вернуть косоглазие, чего вовсе не хотелось, как и свернуть вдобавок к уже имеющимся проблемам шею.

Выход подсказал знакомый журналист:

– Напиши книгу, ответишь сразу всем.

Я обрадовалась, это занятие, к тому же сочинять я всегда любила. Пару дней находилась в состоянии эйфории, потом прочитала написанное и ужаснулась. Слезливое перечисление собственных бед и страданий. Да, конечно, без этого не обойтись, ведь я писала о трагедии, о том, каково это – на взлете вдруг

сорваться в пике и упасть лицом вниз. Как трудно подниматься, как больно, как жалко себя…

Нет, так не годилось, мне вовсе не хотелось, чтобы меня жалели те, кто эту книгу прочитает. Для сочувствия достаточно просто назвать количество переломов – 49, каждый, кто сам что-то ломал или оказывался рядом с переломанным человеком, способен понять, каково это. Ни к чему дальше взывать к жалости.

Я не хотела, чтобы книгу читали вот так же – из жалости, чтобы списывали плохой текст на мое состояние, но главное – я хотела, чтобы мой пример научил вставать с колен, а не выражать сочувствие. Сочувствие бывает разным – жалостливым и действенным. Хочу, чтобы все, в том числе и мой маленький Збышек, поняли: жалостливое сочувствие не способно помочь. Иногда человеку очень нужно, чтобы его просто пожалели, погладили по головке, но только иногда и недолго. Чаще всего он если и нуждается в сочувствии, то в действенном.

Именно за такое сочувствие я благодарна Збышеку, он не плакал вместе со мной, зато натянул веревки по всей крошечной квартирке, чтобы я, когда уже встала на ноги, могла держаться для страховки. Притащил из проката пианино и поставил его в большей комнате вовсе не потому, что там места больше, а в качестве стимула:

– Когда будешь ходить, дойдешь сама.

Принес телевизор, чтобы я не отставала от жизни, то и дело раздобывал пластинки популярных певцов, особенно польских. Приносил газеты.

А еще заставлял держать открытым окно, укрывая меня саму одеялом, чтобы не простыла:

– Тебе нужен свежий воздух, пока не выходишь на улицу, дыши хоть так.

Вот это то, что я называю действенным сочувствием, оно куда нужней простой жалости.

Если мама пример материнской самоотверженности, то Збышек образец поведения с теми, кому нужна помощь в восстановлении, преодолении себя. Почему-то с ним самые болезненные упражнения давались легче, это видели и врачи, потому часто обращались именно к нему, если предстояло что-то тяжелое.

Я написала книгу «Вернись в Сорренто?», тираж разошелся очень быстро. Кроме того, начала писать музыку сама. Это получилось тоже нечаянно. Просто мне предложили (в качестве поддержки) свои стихи двое замечательных людей. Вообще, за

время своей болезни я убедилась, что замечательных людей вокруг столько, что места для незамечательных просто не остается, следовательно, они не существуют. А те, кто себя считает незамечательным (или таковым его считают остальные), просто не нашел себя в этом мире.

Леонид Телига прислал мне свои стихи еще из кругосветки. Телига удивительный, он совершил свое кругосветное плаванье в одиночку, когда я боролась за жизнь и со своими непослушными мышцами в больнице, Телига боролся с океанскими волнами и с недугом. Сейчас уже известно, что эта борьба закончилась не в его пользу. Океан он одолел, а вот болезнь (рак) и власть чиновников (ему неизвестно по каким причинам долго не разрешали проход по Панамскому каналу, притом что он член Панамского яхт-клуба, а потом так и не разрешили заход в воды Австралии) – нет.

Как мне знакомы его проблемы и как меня поддерживала сама мысль, что мои песни ценит такой человек. Леонид Телига – герой Польши, когда он после нескольких операций, когда судьба то дарила надежду, то снова отнимала ее, все же проиграл эту битву за жизнь, его провожала вся Польша.

Мне Телига прислал стихотворение «Парус», на которое я написала песню. Читать его письма было волнительно и тяжело одновременно, перечитывать просто тяжело. Знать, что такой человек не смог победить страшный недуг, больно.

Еще стихи, не очень умелые, но от души, принесла мамина знакомая – учительница Алины Новак. Меня поразило название – «Человеческая судьба», а потом я оказалась потрясена основой этого цикла. Алина использовала отчет акушерки, узницы Освенцима, пани Станиславы Лещинской, которая рассказала, как топили в бочонке с водой всех родившихся в лагере детишек и выбрасывали их тельца на мороз на съедение крысам.

Я не смогла остаться равнодушной и написала музыку к «Человеческой судьбе», нет, в стихах Новак вовсе не было рассказов об утопленных детишках или крысах, напротив, она пыталась доказать, что ни при каких условиях человек не должен опускаться и терять веру в лучшее.

«Улыбайся.
Улыбайся каждой минуте,
Не жди счастливых дней…
Улыбка… даст крылья мечте, а воспоминаниям красоту,
Поможет усталому преодолеть препятствия…».

Разве я могла не откликнуться на такие стихи? Родился цикл «Человеческая судьба», его еще назвали «Освенцимской ораторией».

А улыбка стала моей визитной карточкой.

Много-много раз с тех пор она спасала меня, однажды я услышала рассуждения, что просто прикрываюсь улыбкой, заслоняюсь ею. Немного не так, скорее спасаюсь, а если и прикрываюсь, то вовсе не из желания отгородиться, просто остальным ни к чему знать, как мне больно и плохо, как трудно, а иногда просто невозможно двигаться, делать какие-то движения. К чему зрителям, которые пришли послушать мои песни, знать, что у меня невыносимо болит спина или нога, что плохо действует рука, что кружится голова. Это моя боль, я вовсе не желаю, чтобы она стала всеобщей.

Слышала и еще одно «пожелание»:

– Пани Анна, ваша трагедия – лучшая реклама. Вы сможете долго рассказывать о том, что пережили, вас будут слушать. И песни после этого воспримут любые.

Вот этого я всегда хотела меньше всего – чтобы моя трагедия стала моей рекламой, чтобы на концерты ходили «из интереса», посмотреть, не кривобока ли Анна Герман, не стала ли заикой и действуют ли у меня руки-ноги.

Я не музейный экспонат, даже после своей смерти чучелом в каком-нибудь «музее героев» быть не хочу. Да, то, что я пережила, за гранью возможного, восстановление за гранью реального, возвращение на сцену немыслимо, но это не героизм, это просто желание жить и петь!

Однажды у меня брали интервью и тоже не очень удачно попросили «настоящую героиню посоветовать читателям, как им преодолеть себя, если в этом возникает необходимость». Я демонстративно оглянулась.

– Что, пани Анна, кого вы ищете?

– Эту самую героиню.

Журналистка натянуто рассмеялась, решив, что я просто поднимаю себе цену. Пришлось объяснять:

– Я не героиня, я просто человек, который хочет жить нормальной жизнью, а не лежать бревном и ныть. Просто сделала все, что было возможно, и мои усилия, сложившись с усилиями врачей и моих родных, дали отличный результат. И еще, себя не надо преодолевать, нужно просто понять, чего же ты хочешь, и помочь себе этого добиться. А физические ли это будут усилия или нравственные, не всегда важно.

Почему-то мне показалось, что журналистка не поняла, о чем я говорю, во всяком случае, я этой цитаты в ее статье не увидела.

А жаль, потому что я действительно считаю, что человек не должен ломать себя через колено и даже заставлять не должен. Если разумный человек понимает необходимость даже очень тяжелой боли и уверен, что, перетерпев ее, «заработает» желаемое, он сумеет справиться.

Просто я знала, что вот еще это упражнение даже через слезы на глазах поможет хоть чуть оживить руку или ногу, что если я пересилю боль и сделаю этот шаг, то следующий будет делать легче, что от меня самой зависит то, буду ли я хлопающей глазами колодой или просто живой, выйду ли на сцену, а потому делала все, чтобы это случилось.

Боль можно вытерпеть почти любую, если ты знаешь зачем, веришь, что поможет.

Это не героизм, это жизнь.

Вот почему авария разделила мою жизнь надвое, просто до нее я не задумывалась над многим, многое и многих не ценила. Только когда побываешь на краю, понимаешь, как хороша жизнь и что именно в ней ценно больше всего.

Об этом писал и Леонид Телига: нужно учиться ценить каждое мгновение данной нам жизни, получать удовольствие от каждой минутной радости, а не ныть из-за чего-то плохого, что, возможно, случится в будущем или уже случилось, но не может быть изменено. Жить стоит настоящим, не забывая о прошлом и надеясь на будущее.

Как вовремя мне пришло его письмо, как помогли его советы. Тогда он еще не знал, сумеет ли преодолеть тысячи километров, не знал, что смертельно болен (самую трудную часть пути Телига прошел с температурой 39,5 градуса), не знал, что его собственные дни сочтены. Знал одно: он представляет Польшу перед всем миром, а потому, если вызвался совершить кругосветное путешествие в одиночку, значит, должен это сделать с любой температурой.

Я представляла только сама себя, но тоже знала, что должна встать, несмотря на любую боль, и выйти на сцену, несмотря на любые трудности.

У меня спрашивали (журналисты бывают удивительно нетактичны в поисках сенсаций, но я прощаю, потому что это их хлеб), стала бы я столь успешной, не будь той трагедии, и чему она меня научила.

– Успешной я была и до нее. А вот другой в результате стала. Любая трагедия не может не повлиять на характер человека, просто кого-то делает мрачным и нелюдимым, а кому-то, как мне,

открывает ценность жизни и множество замечательных людей.

А научила моя беда меня прежде всего не сдаваться, даже если гипс от ушей до пяток, не опускать руки, даже если те не шевелятся без посторонней помощи, верить в возможность изменения к лучшему, даже если нет никаких предпосылок и врачи говорят, что состояние безнадежное. Но главное: научила ценить саму жизнь, каждую ее минуточку.

Пусть звучит пафосно, но это так.

Об аварии и преодолении ее последствий можно говорить бесконечно, но не стоит тратить на это драгоценное время, которого у меня осталось слишком мало.

Певица Анна Герман. Трудный нетрудный выбор

Я все время твержу, что авария поделила мою жизнь на «до» и «после».

Конечно, было еще «во время», когда пришлось провести пять месяцев в гипсе, потом почти полгода неподвижно и много месяцев восстанавливать обыкновенные движения, которые человек осваивает в младенческом возрасте. Я училась двигать рукой, сгибать ногу, садиться на постели, вставать, очень долго и тяжело заново училась ходить, играть на пианино, даже просто стоять на сцене.

Мучительный, долгий период, ни забыть, ни просто не вспоминать который я не смогу никогда, потому что и сейчас страшно боюсь споткнуться, упасть и что-то снова сломать, особенно позвоночник.

– Пани Анна, сумели ли вы выбросить из головы воспоминания о тех годах восстановления?

Нет, не сумела и никогда не смогу, даже если вопреки всему проживу еще какое-то время после нынешних безнадежных операций.

Но ведь в моей жизни была не только авария, я не могу ее забыть, но не желаю ею жить! Помнить и жить этой болью не одно и то же, если бы я завязла только на воспоминаниях о преодолении удара судьбы, я перестала бы жить давным-давно.

Но я живу, у меня есть два Збышека – большой и маленький, у меня есть голос, который и до аварии, и после нее помогал мне быть счастливой.

Когда я выхожу на сцену, хочется раскинуть руки широко-широко и… обнять сидящих в зале зрителей. Словно мои объятья способны защитить их, укрыть от чего-то недоброго, словно я способна спасти от какой-то беды. Это не просто самонадеянно, ведь я получаю от зрителей заряд энергии куда больший, чем отдаю, во всяком случае, мне кажется так. Но происходит что-то волшебное, этот импульс от меня к зрительному залу, обратно и снова к зрителям усиливается и усиливается и становится таким, что нам с ними не страшно никакое зло, мы защищены общей силой, сила эта – любовь и доброта.

И у микрофона на записи песни я чувствую нечто похожее. Я пою, и мой голос уносится куда-то, чтобы отразиться и вернуться, даже если в студии звуконепроницаемые стены.

Меня часто спрашивали, как я пришла на эстраду. Я отвечала честно: почти случайно.

Наверное, редким счастливцам с младых лет ясно, кем они хотят быть в жизни. Большинство детей перебирают массу профессий, желая сегодня быть пожарным, завтра дворником, послезавтра кондуктором… а становятся учителями, врачами, инженерами, ткачами, пивоварами… иногда действительно пожарными или дворниками.

Я очень рада, что у Збышека есть такой устойчивый интерес к технике, особенно к паровозам, к истории их создания. Если это его, то пусть занимается всю жизнь, даже если увлечение не принесет больших денег. Слава Богу, не все в нашей жизни измеряется деньгами. Хотя, надо признать, очень многое.

Мне с детских лет очень нравилась музыка, впервые услышав игру профессионального пианиста, я «заболела» желанием научиться играть, но откуда у мамы деньги на пианино, если и на хлеб-то едва хватало. Я ходила заниматься к учительнице, которая сказала, что у меня есть слух и способности, но война перечеркнула даже эти скромные надежды.

Кем быть?

Вопрос для настоящей каланчи, какой я стала уже в школе, непраздный.

О сцене и не мечталось, я не желала, как многие девочки, стать кинозвездой, прекрасно понимая, что той, которая на голову выше не только одноклассниц, но и одноклассников, сцены или съемочной площадки кино не видать. С этим следовало мириться, тем более мой правый глаз долго косил.

Сколько я в школе вытерпела насмешек! Беззлобных, но таких жестоких. Косящая, высоченная, по-детски нескладная, одни углы… Какая уж тут привлекательность. Но я смотрю на снимки тех лет и вижу девочку вовсе не потерянную, не забитую, напротив, открытую миру и всему хорошему. Наверное, это заслуга мамы и бабушки, они сумели показать мне, что в жизни слишком много хорошего и интересного, чтобы страдать из-за того, что нельзя исправить.

И я смеялась, когда мальчишки интересовались, намерена ли я работать пожарной каланчой:

– Подпрыгни, чтобы увидеть то, что вижу я.

В конце концов задевать меня просто перестали.

Но вопрос, кем быть, остался.

Как мама, учительницей? Мне нравилось возиться с малышами, придумывать для них занятия… Однажды пришлось «поработать» Снегурочкой, просто на новогоднем празднике у

мамы в школе Дед Мороз остался без своей приболевшей напарницы. Не пропадать же празднику? Мама предложила в Снегурочки меня, и я половину утренника развлекала малышей пением песенок. Им очень понравилось, мне тоже.

Но потом я поняла, что понравилось мне петь, играть роль Снегурочки, а вот каждый день независимо от настроения, от состояния учить детей чему-то – это совсем иное, это я не смогу. Нет, учительский труд не для меня.

Зачем я это пишу для Збышека? Чтобы он понял, что выбирать свой путь не поздно никогда, и нет ничего страшного в том, чтобы в любом возрасте вдруг начать все сначала. Пока человек жив, он ищет, вернее, пока жива его душа. Это так, бывают люди с мертвой душой (я не о божественной душе, а о некоей нравственной составляющей человека), они есть, но их словно нет. Прожил и не заметили, прошел и не задел, но не потому, что поступь легкая, а потому, что пустота внутри.

Пусть живет душа, а в чем проявиться, она всегда найдет. Если бы люди позволяли проявляться своим душевным порывам, движениям своих душ, многое было бы иначе. Но люди загоняют себя в рамки престижности, привычек, требований внешних приличий…

Мне можно возразить: что будет, если эти приличия не соблюдать? Я предпочла бы иное, чтобы мне улыбались не из соображений приличия, а по велению души, чтобы здоровались не по этикету, а потому что желают здоровья, чтобы были вежливыми и поступали порядочно со всеми, не чтобы казаться воспитанными, а потому что душа просит.

Я долго думала, почему так, почему люди так боятся показывать свои душевные порывы, старательно прикрываясь правилами приличия? Мне кажется, поняла: они боятся открыть свои души, потому что это означает обнажить их, сделать хотя бы на время беззащитными, боятся испытать боль душевную.

Это происходит на концертах, когда хорошая, душевная песня заставляет раскрыться сердца. У зрителей после таких концертов иные лица, иные глаза, они добрые, светлые и счастливые. Наверное, это одно из проявлений счастья – открыть душу, не защищаясь от окружающих частоколом придуманных правил.

Да, правила придуманы, чтобы не поставить кого-то в неловкое положение и самому не оказаться в таком же, но мне куда дороже даже неловкость, которая не вызовет насмешек, потому что эту неловкость понимают и прощают добрые души вокруг. Вот если бы люди научились относиться ко всем вокруг бережно и по-доброму, никому не пришлось бы выставлять защитные барьеры правил приличия.

Но я отвлеклась.

Выбор профессии не просто важен для человека, он может стать роковым, ведь не у всех достанет смелости, не у всех будет возможность позже изменить свою профессию. Обычно говорят: «Мир потерял талантливого музыканта (художника, балерину, поэта, изобретателя…)», имея в виду, что человек занялся не своим делом, художник всю жизнь работал дантистом, или дантист «от Бога» простаивал за кульманом, считая минуты до окончания рабочего дня. Я сказала бы иначе: «Талантливый музыкант потерял себя», потому что эта потеря не менее важна. У мира нашелся другой музыкант или дантист, другой талантливый инженер, врач, учитель, слесарь… а вот человек прожил не свою жизнь.

Если Збышек сразу найдет себя, это будет счастьем. И очень хочу, чтобы Збышек-старший не давил на него и не мешал выбору. Знаю, что так и будет, просто потому что знаю своего мужа. Он не способен мешать, он может только помогать.

Мне не мешали, просто жизнь была слишком трудной. Говорят, все познается в сравнении, наверное, наша очень скромная жизнь кому-то могла бы показаться зажиточной и даже райской, но кому-то нищенской. Мы не жаловались.

Когда мама смогла вместо работы прачки получить возможность преподавать в школе, появилась возможность снять хоть какую-то крошечную комнатушку, где не было лишней мебели просто потому, что не было места. У нас не было ничего лишнего – ни жилплощади, ни мебели, ни одежды, ни денег… Одно платье для школы, одно для дома, одно праздничное. Одна проблема – мои конечности росли так быстро, что вчера еще длинные рукава сегодня становились неприятно укороченными. Мама с бабушкой нашли выход, они делали на рукавах форменного платья горизонтальную складку, а подол подшивали широкой полосой, чтобы была возможность удлинить, не изготавливая новой формы.

Зато платьице всегда отглажено, а воротничок белоснежный…

И обувь начищена до блеска, ее нужно беречь, покупка новых туфель становилась событием.

Это проблема и сейчас, у меня настолько высокий рост, что просто купить что-то в магазине невозможно, как и обувь 40—41-го размера. Приходилось все шить, хорошо, что в Польше всегда в чести было портновское умение и продавались выкройки. Из старого маминого или бабушкиного платья новое мне, из двух

одно, что-то перелицевать, что-то надставить… Отсутствие средств вовсе не повод ходить оборванкой.

В школе выручала форма, в институте – разные хитрости.

Это не очень трудно – жить скромно, просто не нужно переживать по этому поводу. Вокруг так же скромно жили тысячи других, Польша после войны не была богатой.

Но когда вопрос, кем быть, встал ребром, потому что нужно поступать куда-то, пришлось выбирать с учетом той самой скромности и нужды.

Мне очень хотелось рисовать, но нигде специально не училась, а рисунки на листах из школьной тетради (чаще всего тех, что оставались неиспользованными у маминых учеников) едва ли можно считать хорошей практикой. Они очень нравились бабушке и маме, но я замечала, какими грустными становятся мамины глаза, стоит ей взять в руки очередной листок.

И все-таки, окончив общеобразовательный лицей имени Болеслава Кривоустого, я понесла свои рисунки во Вроцлавскую Высшую школу изящных искусств на отделение живописи. Конечно, это было нахальством, рисуя не просто дилетантски, но и вовсе без образования, не обладая даже зачатками техники, я решила, что смогу стать художником.

Да, я прочитала все книги о живописцах, которые смогла найти в библиотеках города, скопировала несколько картин в карандаше (как мне казалось, почти гениально), изобразила на тетрадных листках самые любимые места Вроцлава, со всех сторон костел Святой Анны… Разве этого мало?

Святая простота, не ведающая сомнений просто потому, что не ведала вообще ничего. Мне нравилось рисовать, я рисовала, а техника… это дело наживное. Пусть мне покажут, я научусь. Я вовсе не была так наивна, чтобы не понимать, что люди учатся годами, что нужно изобразить десятки античных голов, носов, архитектурных деталей, чтобы вообще как-то понять законы перспективы и правила рисования светотени. Но если другие научились, научусь и я…

Документы приняли, сказав, что техники, конечно, нет вообще, но все остальное явно присутствует.

Я горячо заверила, что над техникой буду работать день и ночь, эта горячность вызвала смех, но смех добрый. Профессора тоже любят, когда студенты, даже будущие, жаждут работать над собой.

Будущее казалось радужным – я стану художницей. Настоящей, не самодеятельной, пусть даже не слишком известной, но просто писать картины профессионально уже

радость.

На землю меня вернула мама.

– Анечка, тебе девятнадцать. Как я ни старалась, все эти годы мы жили очень скромно, ты не маленькая и прекрасно понимаешь, что заработок учительницы, хоть и невелик, но стабилен. Пока ты будешь учиться, я буду работать вдвое, втрое больше, чем сейчас, но что потом?

Я понимала, что мама права, что наша скромная на грани нужды жизнь обеспечена ее бесконечным трудом и постоянной экономией, но когда тебе девятнадцать, а за окнами цветущая весна, как-то не хочется думать о материальных вопросах. И все же… все же… все же…

– Аня, я верю, что ты талантлива, что сумеешь добиться, чтобы тебя заметили, но сумеешь ли при этом заработать на жизнь свою и своих будущих детей? Ты видишь, как это трудно. Вспомни, сколько выдающихся, даже великих художников при жизни перебивались с хлеба на воду, к скольким признание пришло посмертно, а до того картины покупались за гроши. Я не хочу тебе такой судьбы, не желаю славы посмертной, живи в этой жизни, доченька. Выбери себе земную профессию, которая будет тебя кормить, поверь, лучше иметь кусок хлеба и деньги на бумагу и карандаши, чтобы рисовать в свободное время, чем не иметь ничего.

Земную профессию… Но какую?

Моя подружка Янечка Вильк решила стать геологом. Очень даже земная профессия, можно сказать, исключительно земная. А что, если и мне?

И я поступила на геологический факультет Вроцлавского университета.

Я не виню маму, никогда не винила, потому что, если бы я действительно страстно желала стать художницей, никакие разговоры и убеждения не остановили, ведь начав петь, я уже не смогла от этого отказаться. Начав петь профессионально или тогда почти профессионально.

Я убеждала себя, что геология – это замечательно, это самая нужная наука на свете, что знать прошлое Земли – значит знать самое главное, мы же все ходим по Земле, но очень мало кто представляет, что у нас под ногами, какие сокровища спрятаны, какие процессы проходили миллионы лет. А сколько всего нужно знать, чтобы стать геологом! Геолог должен быть разносторонне образован, а что касается песен, то они хороши у костра под гитару, причем именно такие, к каким у меня лежит душа – лирические, без входившего в моду рока, основанного на ритме.

Впрочем, о пении тогда речь вообще не шла, уж это было из

разряда простых развлечений, о том, чтобы попасть на сцену, я даже не мечтала, 1 метр 84 сантиметра плюс каблуки, может, и хороши с точки зрения парней, но только не на сцене.

Итак, выбор был сделан. Совсем не по призванию, просто потому что нужно выбрать земную профессию, которая даст заработок. Что могла знать о геологии вчерашняя школьница? Только романтические рассказы: песни у костра под звездным небом, рюкзак за плечами, солнце над головой и рядом друзья. Кто из нас понимал, что геология – это не туристский поход на каникулах, а тяжелый круглогодичный труд, часто очень нудный. Чтобы изучить недра, нужно собрать множество образцов, их рассортировать, описать… Это далеко от романтики, как и ползание на четвереньках в угольной шахте.

Но если выбрал какую-то профессию, нужно работать.

На факультете абсолютное большинство студентов гораздо старше нас, это люди, уже прошедшие геологическую практику не в студенческих экспедициях, а по-настоящему в поле, отслужившие в армии, серьезные и знающие цену всему в жизни. Среди них мы с Янечкой и Богусей были просто несмышлеными девчонками, к нам относились покровительственно и потребительски одновременно. Например, для меня страшной проблемой явилось… препарирование лягушки. Смешно, но взять в руки скальпель и разделать даже мертвую жабу, как нечто неживое, я не могла. Пришлось совершить обмен – перевод задания по английскому языку на это самое препарирование. Обмен удался, преподаватели ни о чем не догадались.

Мне самой языки давались легко (куда легче, чем препарирование лягушек), просто в СССР дома мы разговаривали на так называемом пляттдойч – вариант южнонемецкого, который мама выдает за голландский. В Польше – по-русски, здесь мама категорически запретила говорить по-немецки, даже когда у меня брал интервью немецкий журналист или мы вели переговоры по поводу возможных гастролей в Германии, я старательно делала вид, что немецкого не понимаю и пользовалась услугами переводчика. Главное, не выдать понимание произносимого, потому я старательно смотрела не на журналиста, а на переводчицу. Глупость!

Итальянский дался как-то сам собой, это очень красивый и мелодичный язык, язык песен.

Мама кроме немецкого хорошо знала английский, потому что училась на инязе, она добивалась такого же знания и от меня. Английский – язык многочисленных технических текстов, которые мы читали по геологии, философии, математике,

логики… Пришлось следовать совету мамы и учить английский в полном объеме.

Языки пригодились во время гастролей, это отличная практика, потому что можно знать необходимые тысячи слов, легко переводить тексты и даже хорошо складывать фразы самой, но при этом оставаться «глухой», потому что хорошо поставленная речь преподавателей университета разительно отличается, например, от каши во рту у обычных американцев, которым нет необходимости, чтобы их понимали студенты. Лучший способ выучить язык быстро – окунуться в языковую среду, это хорошо известно. Мне пришлось и очень помогло.

Геологическая практика оказалась не из легких, но тут пригодилось увлечение скалолазанием (или одним симпатичным скалолазом?). В детстве я была очень болезненным ребенком, на втором году жизни перенесла тиф, потом скарлатину в довольно тяжелой форме, боялись, что мое косоглазие останется на всю жизнь. Много болела простудными заболеваниями. Наверное, сказывались бесконечные переезды и неприкаянность, для ребенка смена климата не всегда хороша.

Но постепенно вытянулась, переросла, как это называется, и стала крепким орешком. Помогли и нагрузки, которые я сама себе устроила.

Пожалуй, школьные и студенческие годы были самыми спокойными и пусть не сытыми, но какими-то надежными, когда движение только вперед, постепенно и без резких рывков.

Студенческая жизнь Вроцлава в 50-х годах была бурной, как, наверное, студенческая жизнь любого другого города в любое другое время. Но бурной была и жизнь самой страны. Волнения рабочих в Познани в конце июня 1956 года не могли не всколыхнуть всю страну. Мы тогда только окончили первый курс, были полны желания к кому-нибудь присоединиться, кажется, даже не очень понимая, к кому и зачем. Спасло только то, что дальше Познани тогда ничего не двинулось, а еще, что у нас была летняя практика, не способствовавшая политической активности.

А осенью началась учеба, и все как-то забылось само собой.

Я училась старательно, не позволяя себе делить предметы на главные и второстепенные, не расслабляясь и действительно считая работу геолога если не самой важной, то самой интересной профессией на свете. Раскрывать тайны Земли, которым много тысяч и даже миллионов лет, разве это не мечта любого романтика? А еще песни у костра под звездным небом…

Моя многолетняя подруга Янечка Вильк, следом за которой я отправилась учиться на геологический, быстро осознала, что

профессия геолога – это не романтика у костра, а довольно скучный сбор образцов, описание, обмер, расчеты, что математики в этой профессии куда больше, чем романтики, как, собственно, и тяжелого физического труда.

Студенты поют всегда и везде, особенно студенты-геологи, для которых песня под гитару у костра непременный атрибут, но в тот раз уже на четвертом курсе я рискнула спеть свою песню на стихи Юлиана Тувима. Тувим – национальный герой Польши, наверное, не найдется тех, кто бы не любил его стихи, поляки, да и многие европейцы знакомятся с ним по детским стихам, кто не знает его «Овощи»?

Тувим утверждал: «Брось везунчика в воду – выплывет с рыбой в зубах».

Это обо мне. Мои самодеятельные песни на стихи Тувима были самодеятельными в высшей степени, но спеть их хотелось так сильно, что я рискнула сделать это на студенческом вечере. Меня не выгнали со сцены только потому, что пожалели, слушатели ждали рока, ради которого собрались, а тут вышла долговязая девица и, страшно смущаясь, пропищала что-то, с трудом справляясь с волнением.

Редких аплодисментов с трудом хватило до моего обратного путешествия за кулисы, хорошо, что у меня длинные ноги и широкий шаг, а еще, что сцена небольшая и я почти бежала.

За кулисами почти залилась слезами, обидно было не за себя – за Тувима. И хотя Янечка утверждала, что студенты просто ничего не поняли, я ругала себя за то, что так испортила своим неумелым пением прекрасные стихи. Юношеский максимализм твердил, что после «провала» мне не следует и рта раскрывать при людях, не то что выходить на сцену.

Я не была совсем юной, все же годы войны у всех нас «съели» довольно много времени, в университет поступила в девятнадцать, и к моменту первой попытки публичного выступления мне шел двадцать четвертый год. Но, несмотря на тяжелый военный детский опыт (у меня меньше, у моих друзей больше, ведь они жили в оккупации и знали, что такое бомбежки и голод, не понаслышке), мы были романтиками не только на геологическом факультете.

И все же я ухватила свою рыбу за хвост.

После концерта ко мне подошел руководитель студенческого театра «Каламбур» и предложил… участвовать в спектаклях этого театра!

Янечка от восторга так больно ткнула меня в бок, что я

икнула. Это не могло быть правдой, потому что «Каламбур» был очень популярен в университете, туда принимали мало кого и, что называется, «держали марку». Кстати, театр исполнял песни-баллады на стихи Тувима и других польских поэтов, как раз то, что я пыталась сделать, едва не оказавшись освистанной.

Руководил театром Ежи Литвинец, которому я благодарна за такое приглашение, не будь этого студенческого опыта разговора со зрителем со сцены, едва ли я рискнула бы двинуться дальше.

А на профессиональную сцену попала смешно и благодаря моему доброму ангелу юности Янечке Вильк.

Я пела и пела в «Каламбуре», вдохновенно спорила с друзьями по вечерам, вернее, даже ночью, потому что многие работали днем и учились вечером, ведь в «Каламбуре» были студенты не только университета. Мы выезжали в другие города, выступали на самых разных студенческих сценах, репетировали, спорили до хрипоты… Это было безумно интересно и увлекательно, но отнимало столько времени, что на учебу его почти не оставалось, а приближался диплом, нужно сдавать множество серьезных экзаменов.

Мне предстоял выбор: запустить учебу или оставить «Каламбур».

Я выбрала второе, понимая, что студенческий театр все равно оставлю, как только окончу университет и уеду куда-то работать, на мой выбор повлиял и, как я считала, провал во время последнего выступления. Я была больна и спела из рук вон плохо, хотя все твердили, что замечательно, несмотря на то, что позорно забыла текст и сумела начать только после второго проигрыша вступления. Это кошмар любого артиста – забыть текст, но если драматические актеры хотя бы могут как-то обыграть паузу или вообще произнести нужную реплику своими словами или пропустить ее, то певцы лишены такой возможности. Представляете, что было бы, начни певец петь отсебятину, не ложащуюся на музыку, или пропускать фразы из текста.

Я ушла из «Каламбура», но не ушла из музыки.

«Виной» тому моя подруга. Янечка решила, что геология не мое призвание и я должна петь. Очень многие скромные люди попросить что-то для себя не способны, а вот для других… Янечка не просто попросила, она потребовала, причем столь настойчиво, что ей уступили. Потребовала в дирекции Вроцлавской эстрады, чтобы… меня прослушали.

Ничего не сказав мне, она отправилась осаждать дирекцию, нет, наверное, это была не осада, а настоящий штурм с применением самой тяжелой артиллерии. Янечка невысокая и

рыжеволосая, очень активная и даже настырная, если считает, что так нужно. Представить себе подругу в качестве штурмующей стороны я не могла, но она действительно штурмовала.

Мне потом рассказывали, что решили, будто Янечка немного не в себе, а потому проще согласиться и послушать самодеятельное пение ее подруги, перетерпеть один раз, сказать, что не подхожу, и тем самым отвязаться от настырной просительницы.

Но убедить дирекцию было половиной дела, нужно еще заставить прийти на прослушивание меня. Я даже ушам своим не поверила:

– С кем ты договорилась?!

– Да, в дирекции эстрады!

– Ты с ума сошла?! Никуда я не пойду.

– Ты не можешь не пойти, после того, как я их всех убедила тебя послушать! Просто обязана пойти!

– Хочешь моего позора на весь Вроцлав?

Довод был убийственным:

– Если не получится, можешь меня убить. Но если ты не пойдешь, то я умру сама.

Пришлось идти.

Яня убеждала:

– Ну, просто спой им то, что попросят. Без аккомпанемента, не переживай, репетировать не нужно.

Зря она об этом, потому что петь без музыкального сопровождения еще трудней, все недостатки видны, вернее, слышны сразу.

Я пошла, не хоронить же подругу, которая вообще грозила, если я не выполню ее просьбу, умереть у моего порога.

Ни на что не надеялась и потому не боялась. Было даже немного смешно и жалко членов собравшейся комиссии, им предстояло терпеть мой голос, по крайней мере, минут пять… ну, три, пока я спою одну песню.

И стыдно перед занятыми людьми за то, что отвлекаю их, но могли бы и не соглашаться. А если уступили Янечке, то пусть теперь мучаются!

С таким почти лукавым настроением, безо всякой надежды и потому боязни я и вышла петь.

– Какую-нибудь народную песню, пожалуйста.

Члены комиссии смотрели на долговязую девицу без восторга, конечно, ведь Янечка не предупредила их о моих 1 м 84 см.

Я старалась не смотреть на слушавших меня людей, чтобы не

сбиться, испугавшись. Удалось…

– Еще что-нибудь современное.

Какие вежливые, видно, считают неприличным выставить вон сразу. Хорошо, терпите…

Последовала пара современных песен, потом лирическая о партизанах, потом еще шлягер по их просьбе. Комиссия вытерпела все. А мне понравилось, в конце концов, если они терпят, почему бы не попеть?

Выйдя из зала, потащила подругу:

– Ну, все? Ты довольна? Теперь пойдем в кафе, хочу мороженого много-много. Больше петь мне не грозит, потому можно даже заработать ангину.

Но Янечка смотрела на меня как-то странно:

– Аня, а почему они тебя заставляли петь так долго? Что говорили?

Я только пожала плечами:

– Да ничего, просто спрашивали, что еще знаю и могу спеть. Пойдем уже, пока не прогнали.

– Никуда мы не пойдем! Будем ждать результат.

– Какой, я не хочу ничего слышать.

– Аня, когда я приходила сюда, тоже шло прослушивание, всех выпроваживали после первой песни, а одного парня, которого попросили исполнить две, приняли. А ты пела целых пять!

Она вынудила меня дождаться руководителя комиссии Яна Скомпского, убеждая:

– Никуда твое мороженое не денется! Куплю я тебе три порции, но только давай услышим результат.

Мы услышали. Если бы не Янечка, я бы не только не попала на это прослушивание, но и не поняла, что сказал Скомпский.

Слова падали откуда-то обрывками, словно не обо мне.

– Зачисляем в постоянный штат… сто злотых за концерт… четыре тысячи в месяц… легкой жизни не ждите…

Кажется, я попыталась ему объяснить, что не профессионал, что учусь вовсе не пению, а на геологическом, что все мое прослушивание – афера. Просила извинить за нахальство, за то, что отняла время…

– Вы не хотите петь?

– Очень хочу!

– Тогда в чем дело?

Похоже, с таким «фруктом» он еще не встречался. Сначала с боем пробивается на прослушивание, пусть не сама, но с помощью подруги, потом его проходит и начинает убеждать, что

все это афера.

– Но я не училась петь!

– У вас от природы поставлен голос и абсолютный слух, так бывает. Вы должны петь, а учиться… будете, так сказать, в процессе.

Я училась в процессе.

Зарплата, которую мне пообещали в дирекции эстрады, тогда казалась немыслимой, это превышало заработок молодого инженера. Но главным был не заработок, меня приняли на работу певицей. Я буду петь рядом с профессионалами, понятно, что не самыми известными и высокооплачиваемыми, но меня, не имеющую никакого вокального образования, признали достойной выйти на профессиональную сцену!

Мама моего восторга не приняла.

– Ты не будешь защищать диплом? Аня, осталось совсем немного…

Я как-то сразу опустилась с неба на землю. Эстрада – это хорошо, прекрасно, но я ушла из «Каламбура» вовсе не для того, чтобы теперь бросить университет перед самым дипломом.

– Нет, почему же… я все успею…

Уверенности в моем голосе не слышалось. Может, и правда подождать до защиты? Но рассчитывать, что через год меня снова станут хотя бы прослушивать, нельзя. Второго раза не будет, это я понимала хорошо.

Однако требовалось честно предупредить Скомпского о своем намерении окончить университет.

Оказалось, что он присмотрел меня для своей труппы, которая колесила по округе, выступая в самых маленьких залах с весьма странной программой, в опереточном жанре повествующей о путешествии Синдбада. Роль Синдбада Скомпский отвел самому себе, видно, считал, что никто другой не справится, а мы должны были весело встречать мореплавателя в разных портах соответствующими песнями. Поэтому приходилось перевоплощаться из итальянки в африканку, из китаянки в мексиканку, потом в русскую и польку. Если честно, то «Каламбур» с его серьезными балладами и чтением стихов был больше похож на профессиональную сцену, чем «Синдбад», откровенно смахивающий на студенческий капустник.

Вообще-то было очень весело, мы пели зажигательные песни с дичайшим акцентом, немыслимо перевирая слова, но зрителей это волновало мало, как и сама невозможность перемещаться на корабле таким заковыристым маршрутом, не имевшим ничего общего с географией. Главное – мы пели и танцевали, а что из-за

неимения черного парика «африканка» с вымазанным почти черным гримом лицом сверкала светлыми волосами или что после зажигательного негритянского танца не удавалось быстро смыть весь грим и у польки оставалась черная шея, так это издержки неустроенности. У африканки светлые волосы, а у польки черная шея? Мелочи.

Поняв, что университет я не брошу, Скомпский позволил довольно часто отлучаться, чтобы все же собирать данные и писать работу.

Мне удалось, хотя геологом я так и не стала, но все равно собранные и обобщенные мной данные пригодились, и то хорошо. Диплом я получила и положила в шкаф, он никак не мог помочь мне в новой профессии.

Я, как могла, пыталась внушить маме и бабушке, что веду интересную, насыщенную приятными событиями жизнь, старалась не рассказывать о неудобствах, о холодных гостиницах, где всякой ползучей живности видимо-невидимо, о том, что питаюсь как попало, часто оставаясь не только без ужина, но и без обеда, что страшно устаю и плохо сплю, потому что там, где мы ночуем, стены из фанеры…

Зато живописала наши спектакли, изображала в лицах творческие споры, привозила деньги и делала вид, что у меня все прекрасно. Нет, не делала вид, у меня действительно было все прекрасно, а усталость или тараканы?.. Ерунда!

А еще в это время у меня уже был мой Збышек (теперь его следует называть Збышек-старший), который уставал еще сильней меня, потому что после рабочей недели в свой единственный выходной отправлялся из Варшавы разыскивать, где в это воскресенье показывает своего «Синдбада» труппа Скомпского.

О Збигневе нужно говорить отдельно, не вперемежку со Скомпским и африканскими танцами.

Да и о выступлениях в составе этой труппы, и о наших творческих спорах тоже. Иногда я удивляюсь, как не скатилась до вульгарных перепевов того, что было популярным и без меня, до штамповки, до простого «отбарабанивания» своих номеров. Это было легко, потому что при двух-трех концертах в день и большом количестве репетиций (мы репетировали каждую свободную минуту, кроме ночных часов, когда делать этого было нельзя, чтобы дать покой окружающим), мы все же были ориентированы на весьма средний уровень исполнения.

В труппе было четверо музыкантов, для каждого из которых работа у Скомпского всего лишь место временного пребывания, четыре танцовщицы бывшие участницы труппы ночного ресторана, бывший оперный певец и певица средних лет. А еще

сам Скомпский, который не пел, и его помощник, едва успевавший что-то подтаскивать и оттаскивать.

Пели мы трое, причем нашему певцу было тяжело двигаться в силу возраста и особенностей комплекции, а певица не желала этого делать из-за своего особого положения «старожилки» эстрады. В результате танцевали четыре девушки и я, остальные скорее изображали некие телодвижения.

Никому не требовался индивидуальный подход к каждой песне, люди приходили на концерт после тяжелого трудового дня для того, чтобы послушать полюбившиеся мелодии такими, к каким привыкли, то есть каждый шлягер следовало исполнять точно так, как его «пели по радио». Творческие искания своей манеры исполнения уже популярных песен публику не устраивали, зрители не желали принимать новый вариант исполнения. Популярную песню воспринимали только в таком виде, какой уже знали.

Много споров у нас с Скомпским было из-за русских песен. Он сам прекрасно говорил по-русски, но считал, что все русские песни нужно исполнять с надрывом, по-цыгански. Никакие попытки убедить его, что это ни к чему, что в СССР так не поют, я достаточно много слышала русских песен в детстве, не помогали.

– Вот именно, это было в детстве, и слушала ты. Зрителям наплевать на то, что слышала в детстве Анна Герман. Пой так, как они ждут!

Но я не пела, решив не исполнять с цыганским надрывом русские песни, даже если меня в результате выгонят. Спасло только то, что эти песни зрители, в отличие от польских шлягеров, не знали и воспринимали так, как я исполняла. Получалось лирично и без ненужного трагизма. Скомпский ворчал, что я упрямая девчонка, но поделать ничего не мог.

Мое несогласие со Скомпским имело еще одно основание. К тому времени мы с мамой через Красный Крест нашли ее родственников в Казахстане – маминого брата по отцу, который после смерти дедушки воспитывался у своего дедушки. Мама рискнула к ним съездить.

Это было очень волнительно. К сожалению, бабушка не могла поехать из-за болезни, хотя, думаю, и не очень стремилась, ведь со своим пасынком в СССР она не общалась.

Тема СССР и всего русского всколыхнулась заново, из-за маминой поездки дома только и разговоров было, что обо всем русском, и песни, конечно, звучали тоже русские.

Мама вернулась домой с раздвоенными чувствами. С одной стороны, она была рада встрече с родными, тому, что в СССР

можно больше не бояться попасть в лагерь из-за того, что родственники за границей, с другой – была озадачена.

– У них квартира, а у нас? Я даже не могу пригласить их к себе в гости.

Это так, мы жили в съемной клетушке, оплата которой все равно съедала значительную часть небогатого бюджета. Получить квартиру от государства возможно только в далеком будущем. В разрушенной войной Польше жилье хотя и строилось быстрыми темпами, но его катастрофически не хватало даже многодетным семьям. Можно было бы купить кооперативную, но таких денег в нашей семье не бывало никогда.

Я понимала, чего не договаривала мама: если бы я работала геологом, возможно, могла бы получить где-то квартиру ведомства, а на ее учительскую зарплату и мою певческую квартиру не купишь.

Кажется, с этого дня квартирный вопрос стал постоянной темой обсуждения.

Я обещала, что буду работать в три раза больше, чтобы заработать на квартиру. Как это сделать, не задумывалась, но точно знала, что буду стараться. А что мне еще оставалось?

Но я зря полагала, что судьба определена. Петь в сельских Домах культуры вовсе не значит получить право называться певицей. Пока я была самодеятельной актрисой, «пристроившейся» к профессионалам. И эти профессионалы вовсе не всегда бывали довольны таким соседством. Следовало получить официальное признание своих способностей и право называться певицей.

Нет, для этого необязательно учиться профессионально, достаточно сдать экзамен строгой комиссии, которая прослушает, спросит что-нибудь, что придет в голову, и решит, годна ли. Такой экзамен столь же обязателен, сколь похож на лотерею.

Комиссия устала, ее членам все равно, будет ли какая-то Анна Герман официально считаться певицей или так и останется самодеятельной. Какая разница, если она поет в клубах и непонятно что? Никогда не умела петь перед равнодушными людьми (нет, члены комиссии вовсе не были равнодушными вообще, им просто скучно слушать именно меня), а скорее всего просто была не готова, пела плохо, скучно. Результат не заставил себя ждать – я не сдала экзамен. И вопрос об американском писателе Артуре Миллере, на который я не смогла ответить, здесь ни при чем. Если бы комиссию поразило мое исполнение песни, и вопрос задавать бы не стали.

На сей раз никакой «рыбы в зубах», вынырнуть-то вынырнула,

но вся в тине. Если честно, то заслуженно.

Возвращаясь из Варшавы во Вроцлав, я размышляла, справедливо ли обошлась со мной судьба, и решила, что да. Я возомнила себя всемогущей, решила, что если у меня поставленный от природы голос и абсолютный слух, то заниматься вовсе не обязательно. Публике в крошечных клубах либо бывало все равно, лишь бы пели и танцевали, либо, если аплодировали мало, я списывала все на непонятливость этой самой публики.

Но здесь я пела перед профессионалами, пусть и не вполне объективными, но которым не все равно, как именно я пою. И профессионалам со мной было скучно.

Несданный экзамен мало что решал в моей судьбе, но я представляла, что скажут мама и бабушка («Может, ты вернешься к своей настоящей профессии?»), что скажет Скомпский («Я тебе говорил, как надо петь, но ты упрямица. Вот и поплатилась»), Янечка («Анечка, они ничего не смыслят в музыке и пении!»). Но дело даже не в отзывах или поддержке, а в том, что меня поставили на место, вернее, я сама поставила себя своим равнодушным выступлением.

Это был момент истины. Позже я думала (когда лежала без движения многие недели, у меня было время размышлять), что было бы, не реши Янечка силой показать меня Вроцлавской дирекции эстрады? Я стала бы неплохим геологом, сделала много полезной работы, пела бы у костра и по праздникам дома. Потеряла бы что-то эстрада? Возможно, но совсем немного. Потеряла я? Да, потеряла бы самое себя.

Но не менее важный момент был и тогда, когда я провалила экзамен в Варшаве. Совет попробовать еще раз через год – слабое утешение.

Что делать, возвращаться в труппу Скомпского и снова петь русские песни на манер цыганских, изображать собой светловолосую африканку, копировать тон в тон чье-то исполнение польского шлягера? Поискать работу геолога и со смехом вспоминать о своих попытках стать звездой эстрады? Или все же вернуться через год, но уже основательно поработав над собой? Только где работать, ведь со Скомпским теперь спорить было невозможно, я проиграла и права спорить с мэтром была лишена.

Думаю, если бы песня не была моей любовью и судьбой, тогда я отступила, но я возвращалась хотя и уничтоженная, но готовая возродиться, с твердым намерением восстать из пепла и научиться петь по-своему, чтобы через год доказать, что имею право называться певицей.

Если человек чего-то хочет по-настоящему, судьба обязательно подбросит ему возможность реализации мечты.

Дома меня ждало письмо из Жешува от Кшивки.

Нужно знать, кто такой Кшивка, его считали «делателем звезд». Если Кшивка позвал к себе, значит, у певца или певицы есть будущее. Он просто нюхом чувствовал способных людей.

Кшивка звал меня к себе в спектакль «Рассвет над Африкой». Снова африканка (надеюсь, парик найдется?), но мне было все равно, ведь нашлось то самое заветное место, где я смогу по-настоящему работать над собой, своей манерой исполнения.

Радость тут же сменил испуг: как я скажу Кшивке, что провалила экзамен, он об этом не подозревает. Но Юлиана Квишку мой провал на экзамене вовсе не испугал.

– Через год попробуешь еще раз, а пока учись.

Если честно, то работа в труппе Кшивки мало отличалась от предыдущей, я исполняла африканские зонги… по-английски. Здесь были две возможности: петь, как Фицджеральд, или попытаться найти свою манеру. Я категорически не умела и не желала хрипеть, а зрители не желали слушать джаз без хрипотцы, мне не хватало уверенности, и первые концерты оказались почти провальными. Пан Юлиан осторожно наблюдал. Я понимала, что он готов прикрыть мое исполнение и настоять на привычном зрителям, понимала и то, что если он это сделает, подчинюсь, чего бы мне это ни стоило, иного выхода не было, но, слава богу, все обошлось.

Постепенно я обрела необходимую уверенность, голос зазвучал по-другому, и аплодисменты звучали не только пока я стояла на сцене. Зрителям понравилась манера исполнения зонгов Анной Герман.

Но главным подарком Кшивки явилось даже не то, что он взял меня, провалившую экзамен (кстати, на следующий год я его легко выдержала, получив право называться профессиональной артисткой), к себе в труппу, не то, что дал возможность петь по-своему, а знакомство с Катажиной Гертнер. Именно Юлиан посоветовал Катажине показать свою новую песню мне.

Катажина подрабатывала аккомпаниатором в Варшавской эстраде, сочиняла песни, которые художественный совет одну за другой выбраковывал. Я помнила комиссию, которой сдавала экзамен, усталые, безразличные ко всему лица, и поняла, что не одинока.

Гертнер сказала, что ее песни уже исполняют, даже не просто исполняют, а поют такие звезды первой величины, как Хелена Майданец! И ту песню, что она предлагала мне, тоже пела

Хелена, правда… Катажина скромно ограничилась этим замечанием, я поняла, что успеха не было.

Но у меня никогда не бывало «своего» композитора, то есть я просто перепевала шлягеры или «африканские зонги», имеющие так же мало общего с Африкой, как мои собственные волосы под черным париком с роскошными курчавыми шевелюрами настоящих африканок.

Своя песня, предложенная своим композитором… Совсем недавно мне и в голову такое не могло прийти.

Но петь то, что поет Хелена Майданец?! Хелена буквально ворвалась на эстраду, едва окончив среднюю школу. Она оказалась настолько востребована, что девушку разрывали на части. Голос Хелены звучал из всех радиоприемников Польши, на ее концерты билеты достать невозможно, поклонники не просто визжали от восторга, но и готовы были нести ее с одного концерта на другой на руках. Песенку «Руде Ритц» распевала не только Польша, но и вся Европа.

Дело не в том, что она звезда, а я даже не сумела сдать экзамен, назвав Артура Миллера канадским писателем.

Майданец точно «попала в обойму» музыкальной моды начала 60-х, она пела и танцевала (как танцевала!) твист. У нее прекрасный, сильный голос, но в своем исполнении Хелена делала упор на ритмический рисунок песни, что было совсем не по мне, мне всегда, даже в африканских зонгах, ближе была мелодия.

А песня, которую мне показала Катажина Гертнер, требовала не ритмичности Хелены Майданец, а мелодичности. И называлась эта песня «Танцующие Эвридики». Лучшего подарка для себя я не могла желать. С первых минут, с первых аккордов поняла, что это моя песня. Пусть ее поют хоть тысяча Хелен, она моя, и если Катажина разрешила исполнять свою песню, то я буду это делать даже при пустых залах!

Просто в этой мелодии сочеталось именно то, что помогало мне раскрыть свои собственные вокальные возможности. «Танцующие Эвридики» стали моей визитной карточкой на десяток лет, с ней я выступала на фестивалях. Это был настоящий подарок судьбы, Кшивки и Катажины Гертнер. Мы с Катажиной остались друзьями на всю жизнь, хотя свои песни она все равно отдавала другим, например Марыле Родович.

Экзамен я сдала, официально став артисткой, но опыта и умений-то мне это не добавило. Настоящий Митрофанушка из произведения Фонвизина – все знаю только понаслышке и во всем уверена донельзя. Так не пойдет.

Но где учиться, если африканские зонги ничего нового не

дают? Появилась мысль поступить в консерваторию, но на что жить? Вынуждать маму кормить и содержать взрослую двадцатишестилетнюю девушку еще пять лет? Нет, о таком я даже не помышляла, но учиться хотя бы как-то, хоть урывками очень хотелось.

И я рискнула набрать номер уважаемой пани Янины Прошовской. Профессор консерватории, учиться у которой мечтали многие, оказалась легкой в общении, доброжелательной и одновременно очень строгой в отношении учебы. Она согласилась давать мне уроки вокала, когда появлялась возможность бывать в Варшаве. Я понимала, что, работая в Жешувской эстраде и без конца гастролируя, я едва ли часто буду приезжать в Варшаву, но даже от этих редких моментов отказываться не собиралась.

Я безумно благодарна пани Янине за ее учебу, она хорошо понимала и то, что я не имею начального образования, и то, что вынуждена петь далеко не всегда то, что подходит лично мне и поднимает исполнительский уровень.

А потом был Сопот, сначала первый раз с песней «Крик чаек», потом «учеба» в Италии, когда я просто знакомилась с Римом, потом фестиваль в Ополе, наконец, с «Танцующими Эвридиками», потом второй Сопот… гастроли в СССР, запись первой пластинки и так далее…

Я состоялась как певица, начались сольные выступления, потом сольные гастроли… и вот сейчас, почти через два десятка лет, все заканчивается просто и буднично, потому что болезнь решила взять свое, забрать мое тело, которое чудом осталось существовать тогда, после аварии.

Все складывалось хорошо, хотя конкуренция на польской эстраде, да и на эстраде вообще, была очень высокой. Много замечательных голосов, замечательных имен, найти свое место среди которых не так-то просто. Причем такое место, чтобы петь не год и не два, не просто сверкнуть яркой звездочкой и потухнуть, оставив приятные воспоминания лишь у нескольких десятков поклонников, а петь и быть востребованной долго.

Для артиста невостребованность худшее из зол, не бывает артистов, которым не был бы нужен успеху публики, если кто-то утверждает иное, он просто лукавит. Если не хотеть, чтобы тебя слушали, к чему тогда вообще выходить на сцену?

Совсем иное дело жаждать безумного успеха и быть готовым ради него на все. Это уже неправильно, потому что никакие сиюминутные овации не стоят предательства собственного *«я»*. Если ради сегодняшнего успеха исполнять то, что тебе

совершенно не подходит, или петь в угоду спросу то, что считаешь неприемлемым, то можно потерять самого себя. Таких примеров много.

Я свою манеру исполнения нашла интуитивно и почти сразу, ни петь с цыганским надрывом, ни танцевать твист на сцене, ни хрипеть я не буду. Не говорю, что это плохо или неправильно, хороши и твист, и легкая хрипотца, и зажигательные танцевальные па, но это все не мое. Одно дело танцевать в «Рассвете над Африкой», но совсем иное петь песни, основа которых ритм, это не мое, у меня основой должна быть мелодия.

Я пришла на эстраду, выбрав между профессиями геолога и певицы, значит, я должна найти свое место на сцене, иначе не за чем было мучить комиссии во Вроцлаве и Варшаве. Если вопрос петь или не петь не стоял, не петь я просто не могла, то доказывать всем, и даже самой себе, что могу петь на сцене, пришлось.

Но мне пришлось выбирать не только петь или не петь, а поистине выбирать между Востоком и Западом, между СССР и странами Западного мира. И я знаю, что для многих мой выбор непонятен.

Поймет ли Збышек-младший, особенно теперь, когда все советское стало синонимом несвободы и почти ругательством?

Как объяснить, что я никогда не вмешивалась в политику, которая и без того переломала судьбы моим родственникам? Пою только о любви, а этому чувству все равно, к какой партии или какому блоку принадлежит человек. Соловью на ветке безразлично, на какой стороне границы куст с веткой. Малышу, слушающему мамину колыбельную, важен только мамин голос.

Конечно, люди должны бороться за свои права, за то, чтобы условия жизни были достойными, чтобы чувствовали себя свободными, наверное, руководители «Солидарности» желают своему народу только добра, но мне так жалко тратить последние силы и дни на эту борьбу. Я бы лучше спела… если бы смогла…

Но суть выбора вовсе не в политике.

В 60-х годах проходило множество песенных фестивалей, особенно молодежных. Европа, словно придя в себя после страшной войны, хотела петь и веселиться. Стали уже широко известны польские Сопот и Ополе, фестиваль молодежной песни в Сочи, потом болгарский «Золотой Орфей», наша Зелена Гура… Эстраду активно завоевывали молодые.

На эстраде развелось безумное количество подражателей. Подражали исполнителям «свободного мира» – кто-то, как

Филипп, Элвису Пресли, кто-то, как Богдана Карадочева в начале своей карьеры, Эдит Пиаф, но абсолютное большинство, конечно, Битлам. Подражание, даже самое талантливое, никого не красит, вторых Битлов быть не могло, как и второй Пиаф. И Элвисом Пресли стать невозможно.

Те, кто не подражал, сами стали иконами стиля, по популярности в Польше обойдя даже зарубежных исполнителей. Никому не подражала Эва Демарчик, чьи выступления в Кракове собирали в «Пивницу под Баранами» толпы ее почитателей. Не подражала Хелена Майданец, она стала настоящей королевой твиста, как Марыля Родович королевой рока и песен в стиле фолк.

А я? Я тоже не желала никому подражать, в том числе талантливым Майданец и Родович, не хотела петь, как Демарчик. Я искала свой стиль.

Во время гастролей по США мне предложили там остаться и петь джаз. Но это не мое – ни Америка, ни джаз. Мне больше подходят мелодичные песни, к тому же я предпочитаю, чтобы в песне был смысл, повторять десятки раз одну фразу только потому, что та хорошо легла на какую-то заводную мелодию, – это не для меня. Возможно, я не современна, но заставлять себя петь иначе равносильно тому, чтобы сжимать горло самой себе.

«Эвридик» я пела по-своему и с удовольствием, потому получилось, потому песня стала шлягером, хотя, конечно, распевать ее во время застолий невозможно. Настоящий шлягер не тот, который с удовольствием слушают, а тот, которому подпевают.

Таких песен у польских авторов для меня практически не нашлось, даже если мои песни и нравились, то поляки не пели их хором за праздничным столом или просто слушая пластинку или радио. А советские песни пели, конечно, в СССР и по-русски, но обязательно подпевали всем залом «Надежду», «А он мне нравится…», «Когда цвели сады», плакали во время исполнения «Эха любви».

Сколько я спела песен советских композиторов и поэтов? И каждая по-своему хороша, были, конечно, особенно популярные, например, «Надежда», «Когда цвели сады» и «Эхо любви», но мне не менее дороги все остальные – добрые, иногда грустные, иногда лукавые, но обязательно лиричные и мелодичные.

Не знаю, что было бы, не попади я в аварию, возможно, пела бы неаполитанские песни или даже джаз. Мой жесткий контракт с Карриаджи заставил бы меня еще два года позировать, давать интервью, улыбаться и быть марионеткой в подчинении у Ренато.

Я и до того не была слишком свободна, тоже без конца переезжала с места на место, из одного города в другой, тоже немало улыбалась и говорила, вместо того чтобы петь, но в Италии чувствовала себя настоящей куклой на ниточках: потянули за нитку – открыла рот, дернули за другую – улыбнулась…

Карриаджи владел студией грамзаписи, пусть совсем небольшой, но все же. Я считала, что еду в Италию прежде всего ради записи пластинки, но запись оказалась на втором плане, меня сначала требовалось хорошенько «раскрутить», то есть разрекламировать. Конечно, была и пластинка с неаполитанскими песнями, но «своих» песен и «своих» композиторов все равно не было.

Кем бы я стала за годы, проведенные в Италии? Неужели звездой итальянской эстрады? Не знаю… Как-то не верится, скорее Карриаджи просто состриг бы купоны с моей временной популярности и вернул обратно в Польшу.

Стоило только мне встать на ноги после аварии и выйти на сцену, как синьор Карриаджи снова появился на горизонте с предложением подписать контракт и даже частично компенсировать мне «потери» за время вынужденной нетрудоспособности. Предложение было финансово выгодным, тем более для особы, потратившей все итальянские заработки на лечение после катастрофы.

Я отказалась.

Почему? Я даже не могла понять, чего не понимает чиновник «Пагарда». Дело не в неприятных воспоминаниях об аварии. Зачем я нужна той студии в Италии? Только стричь купоны с моей популярности из-за катастрофы. Я понимала, сколько мне придется дать интервью, как расписывать каждый несчастный день моей неподвижности, каждое усилие по преодолению беспомощности, каждую мысль о возможности победы над недугом. Представляла, каких и сколько будет задано вопросов, часто нетактичных, даже жестоких, сколько безжалостных поездок, выступлений и фотосессий.

Это имело мало общего с пением и с моим желанием забыть катастрофу и вернуться к нормальной жизни.

Я сделала все, чтобы если не стать нормальной, то хотя бы так выглядеть. Скупо отвечала на расспросы, улыбалась, на сцене и перед камерой да вообще перед всеми делала вид, что мне не больно, что я обычная, а не ломаная-переломанная, не хотела, чтобы меня жалели и мне сочувствовали. Я хотела вернуться к жизни, а не к существованию под жалостливыми взглядами.

Сочувствовать можно по-разному, можно ахать и охать, с

любопытством вглядываясь в лицо, словно определяя, насколько тебе плохо, а можно молча протянуть руку для того, чтобы на нее опереться, и при этом не подчеркивать твою ущербность из-за физического недуга. Сочувствие с любопытством ужасно, оно только добавляет мучений, сочувствие действенное помогает.

Я не желала быть объектом пристального внимания и ахов ни для журналистов, ни для зрителей, ни даже для друзей, и рассказывать всем о своих мучениях тоже не желала. Написала книгу. Чтобы ответить сразу всем и насколько возможно (а это вообще невозможно) забыть аварию.

Конечно, физическая боль, необходимость ежеминутно, ежесекундно учитывать свое состояние, лекарства и гимнастика, постоянное чувство усталости не позволяют и сейчас чувствовать себя нормально, но зачем об этом знать журналистам, зрителям, читателям, даже друзьям? Это мое, насколько смогла, я преодолела беду.

Вот почему я не поехала в Италию снова – не только не желала вспоминать произошедшее, но и не желала быть куклой, которую разглядывают, мужеством которой восхищаются, не хотела, чтобы на меня смотрели, меня слушали, мной интересовались прежде всего потому, что я перенесла такие муки, и преодолела все, и выбралась из воды с рыбой в зубах. Я хотела, чтобы на мои концерты ходили из-за моего пения, а не из любопытства.

Вряд ли синьор Карриаджи мог дать мне это.

А становиться лягушкой, которую препарируют, я даже ради большого заработка не хочу.

Мне не раз говорили, что упустила блестящую возможность стать сверхпопулярной не только в СССР, но и в Европе, и в США, мол, именно на интересе к своему мужеству, преодолению можно было построить начальный этап завоевания мира эстрады, а потом, раскрутившись, петь то, что нравится. Правда, тут же оговаривались, что мои личные предпочтения и предпочтения европейской и особенно американской публики разительно отличаются.

– Пани Анна, бросьте вы свои славянские вздохи, исключите нотки страдания в голосе, пойте веселые, заводные песенки, под которые прекрасно двигаются ноги. У вас великолепные вокальные данные, используйте их себе во благо.

Я не захотела петь веселые песенки, под которые прекрасно танцуется. Я хотела петь то, к чему лежала моя душа. И если из-за этого не заработала много денег, то мои родные меня простят.

И если бы я отправилась покорять Запад сначала своими

страданиями, а потом наигранным весельем, то ничего хорошего из этого не вышло бы. Я пела так, как пела, и если моя популярность «всего лишь» в Польше и СССР, тем хуже. Для меня и для остальных.

Хелена Майданец, уехав на гастроли в Париж, обратно не вернулась. Были разговоры о том, что она просто снялась для какого-то порножурнала, и наши чиновники решили, что певица со столь вольным поведением Польше не нужна. Но Майданец нашла себя на парижских подмостках. Хорошо это или плохо? Она счастлива в Париже, работает на телевидении и радио, выступает в знаменитых кабаре, изредка приезжает в Польшу. Хелена счастлива, значит, хорошо, неважно, нравится ли это чиновникам.

И таких певцов и певиц много, они не стали звездами первой величины на европейской или мировой сцене, не перебили славу Битлов или Эллы Фицджеральд, не собирали огромные залы, как «Абба», но жили вполне прилично.

Я могла выбрать такой же путь, могла, но не выбрала, помешала авария. А если бы не помешала? Пришлась бы я западному слушателю по вкусу со своими мелодичными песнями? Возможно, поет же Челентано, и Джо Дассен, и Далида, и многие другие, кто не похож на Битлов или «Аббу», но виноватым себя из-за этого не считает.

Тогда почему мне дороже русские песни, почему они получаются душевней и поются легче?

Наверное, все дело в моих корнях, даже не корнях, а родине. Я родилась в СССР, мои предки тоже, дома говорили на пляттдойч (южнонемецком диалекте), но вокруг я слышала русскую речь, русские песни, видела русских людей. До десяти лет я была гражданкой Советского Союза, а основы всего закладываются в детстве.

Я никогда не задумывалась о своей тяге ко всему русскому, редко об этом говорила, но теперь понимаю, что это так. И поэтому рада, что не увезла своего сыночка Збышека ни за Восток, ни на Запад, как мне предлагали, он родился в Польше, первые слова услышал на польском, видел вокруг Варшаву и варшавян. Это его родина, и лишать Збышека этой родины было бы жестоко, как бы его маму ни манили перспективы безбедной жизни в других странах.

Я ничуть не виню свою маму в том, что она увезла меня из родных мест, у нее просто не было выбора, слишком трудными и ненадежными оказались годы моего собственного детства, слишком много оказалось внешних обстоятельств, которые она могла изменить, только уехав из страны. Мама спасала прежде

всего меня, причем делала это как могла и как получалось.

Детство, которого не было

Я из поколения, у которого не было детства.

Это вина взрослых, развязавших войну и тем укравших у нас счастливое детство.

Детские годы большинства моих ровесников изуродованы войной, те, кто родился в середине тридцатых и позже, просто не могли иметь нормальных праздников с веселыми играми и нарядными платьицами. Когда началась война, мне только исполнилось пять лет, но и до того спокойной и обеспеченной жизни тоже не было. Я не жалуюсь, жизнь вообще научила не жаловаться, тем более не предъявлять к ней претензий.

Сколько себя помню, всегда пела. Нет, не забиралась на стул перед гостями, не исполняла по их просьбе какой-нибудь взрослый шлягер, умиляя родню, не устраивала концерты для соседей, пела тихонько и для себя. Во-первых, у меня просто не было такой жизни, когда гости по выходным или многолетние соседи, радостно аплодирующие самозваной певице с бантиком в волосах; во-вторых, в детстве я сильно косила, к тому же всегда отличалась высоким ростом, что вызывало множество насмешек; в-третьих, все мое детство мама и бабушка старались жить как можно незаметней, на это были свои жестокие причины. Не следовало никоим образом привлекать к себе внимание ни голосом, ни какими-то выступлениями.

Отца я просто не помню, потому что его забрали, когда мне едва исполнилось полтора года, у нас вообще не было с ним прощания, мама увезла меня в больницу в Ташкент, а папу арестовали в ее отсутствие. Папу и маминого брата Вильмара. Отца расстреляли, а дядя Вильмар погиб в лагере. О папиной судьбе мы точно не знали до недавнего времени, а маминого брата мама с ее сестрой Тертой даже нашли в колонии, но его вскоре перевели в другую на север, где Вильмар и умер от туберкулеза.

Бесконечные переезды, попытки буквально спрятаться в мышиные норки, жить в дальних кишлаках, в небольших селах, только чтобы не заметили, не вспомнили, не арестовали – такими я запомнила военные годы. Когда маму увозили в Трудармию на строительство дороги, а я оставалась просто у хорошей, доброй женщины, мне не было и семи лет, я спела ей на прощание жалостливую песню: «Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда…». Я хотела показать маме, что могу петь, а вышло только хуже, она рыдала так, что я сама едва не бросилась

под колеса повозки.

Это неправда, что в благословенном Узбекистане во время войны не было голода, был, и еще какой. Конечно, не такой, как в блокадном Ленинграде, меня всегда поражало мужество людей, перенесших этот кошмар, но все же был. И в благословенном Узбекистане не проживешь на одних фруктах, а чтобы купить хлеб, нужно работать, но работа для жены и дочери врага народа, то есть для мамы, не всегда была. Если бы не добрые люди, помогавшие нам, едва ли мы смогли бы выжить.

Я не жалуюсь, просто объясняю, что ни возможности, ни поводов для песен у меня просто не имелось. Но я все равно пела, тихонько, стараясь как можно старательней выводить мелодию.

Это семейное, прекрасно пел отец, пела и мама, были музыкально одаренными родственники с обоих сторон.

У нас с мамой у каждой по-своему сломаны судьбы. Но если виновник моей трагедии известен, это водитель «Фиата», заснувший за рулем на скорости свыше ста пятидесяти километров в час, то в маминой трагедии виновата система. И я не уверена, имею ли право рассказывать обо всем подробно, ведь это означает раскрыть и ее тайны, говорить о которых мама вовсе не желала бы.

Думаю, о многом получится умолчать, и к тому времени, когда Збышек-маленький вырастет и сможет прочесть мои каракули, моя мама сама расскажет внуку все, что сочтет нужным, и в том виде, в каком пожелает сама. Это ее право – скрывать, изменять что-то, о чем-то умалчивать.

Но есть кое-что, что я хочу донести до Збышека. Мы даже со Збышеком-старшим не обо всем говорили, не потому, что хотелось что-то скрыть от любимого человека, у меня не было от него секретов, просто в биографии существуют больные точки, касаться которых очень непросто.

К числу таких относятся мои детские годы и вообще вся моя родословная.

В этом нет моей вины, думаю, и моих родных тоже, виновата та самая система.

Судьбы скольких людей перемололи жернова всевозможных революционных переделок! Пожалуй, не одного поколения.

Я родилась в узбекском городе Ургенче. Однажды, когда после аварии лежала колодой и одной из немногих радостей было чтение очень добрых писем отовсюду, в том числе из СССР, такое послание пришло из Ургенча. Человек, написавший его, уверял, что стоит мне приехать в его родной город и поесть

знаменитых дынь, как все болячки отступят сами собой. Откуда ему знать, что я хорошо помню эти дыни, люблю их (любила, уже давно не удавалось вдохнуть аромат спелой дыни) просто потому, что это мой город, мой запах.

В СССР в те годы люди много и часто переезжали с места на место, кто-то менял климат, кто-то искал новую работу, кто-то… скрывался (бывало и такое). Я не вправе ни осуждать, ни вообще подробно рассказывать о том, что было, потому что в СССР прожила десять первых лет своей жизни, а в Ургенче и того меньше.

Я обратила внимание на то, что детские воспоминания у человека всегда только хорошие, даже если детство было тяжелым или неустроенным. Не знаю, каким оно было у меня, наверное, тяжелым и неустроенным, но все равно замечательным.

В детстве я много болела, но мне удалось выжить и после тифа, и после скарлатины, а вот мой братик Фридрих умер, хотя болели мы вместе. Конечно, я этого не помню, была слишком мала. Есть люди, которые помнят себя с совсем маленького возраста, иногда мне кажется, что я тоже, но потом понимаю, что это просто повторение рассказов старших, например бабушки.

У меня была замечательная бабушка Анна, урожденная Фризен.

Мама родилась в прекрасном селе Великокняжеское на Кубани. Рассказывать о Великокняжеском и жизни в нем мама может часами. Я ее понимаю, села переселенцев отличались ухоженностью.

Мамин дед строил элеваторы, а еще владел гостиницей (или управлял ею), слыл умелым и толковым человеком. У них было большое хозяйство, сад, чтобы иметь все свое, трудились много и усердно. Но наступили трудные годы Гражданской войны, когда моим старшим дядям Давиду и Генриху с трудом удалось избежать расстрела из-за того, что выдали пропуск на проезд какому-то бывшему генералу, это было, кажется, в 1919 году. Судя по рассказам, такое поведение называлось контрреволюционной деятельностью, за которую вполне могли расстрелять.

Эти старшие сыновья дедушки были от его первой жены, у бабушки кроме мамы еще Вильмар и Герта.

Когда от тифа умер дедушка – Давид Петрович Мартенс, все тяготы легли на плечи моей любимой бабушки Анны Мартенс, урожденной Фризен. Я не помню ее без круглых очков с тонкими дужками и озабоченного выражения лица. Мне казалось, что она считает себя ответственной за все, что происходит на Земле,

особенно за то, что происходит «не так».

Вдовство и воспитание детей в одиночку для России вообще не редкость, в этом бабушкина судьба не тяжелей других.

И все-таки мама сумела окончить сначала школу второй ступени, которая давала право поступать в университет, даже поработала учительницей, потом сумела поступить в Одесский педагогический институт, что было не так-то просто сестре тех, кого едва не расстреляли.

О своем поступлении она рассказывала с юмором, потому что умудрилась девиз «Пятилетку – в четыре года!» попросту переврать: «Четырехлетний план – в пять лет!». Через несколько лет эта ошибка могла стоить жизни, но в 1929 году еще не стоила так дорого. Мама была принята и успешно окончила литературный факультет, чтобы преподавать в немецких школах, которых до войны в немецких селах было немало.

Работать отправилась в благословенную Ферганскую долину в Узбекистан, где служил в армии мамин брат Вильмар. Возможно, останься они там, и никуда не стали уезжать, потому что по бабушкиным рассказам лучшее место, чем эта долина, найти трудно. Там же встретились мои мама и папа. Это была любовь, для которой нет преград, и я счастлива, что стала плодом такой любви.

Красивая молодая пара, у обоих хорошие, «земные» профессии – учитель и бухгалтер, кажется, ничто не мешало счастью…

Но и у папы были проблемы, он тоже родственник многочисленных «врагов народа», а потому наступил день, когда им пришлось бежать дальше.

Забраться в глушь, чтобы никто не вспомнил, не поинтересовался, не решил, что ты виновен – это стало принципом жизни надолго.

Уехали в Ургенч, это тоже Узбекистан, только северный. Большая, широкая река Амударья дает жизнь многим землям по своему течению, пока не принесет воды в Аральское море. А там, где есть вода, там жизнь, для Узбекистана это закон существования. Бабушка рассказывала, что это прекрасное место, зеленое, хотя и жаркое. Конечно, с прежним местом жизни сравнить нельзя, но в Ургенче уже после армии жил и работал дядя Вильмар.

Моя бабушка легка на подъем, да и мама тоже, они столько раз переезжали, что с трудом сами могут вспомнить последовательность путешествий. В этом были свои положительные и отрицательные стороны, они не были привязаны к вещам, потому что возить за собой множество тюков

и узлов невозможно, легко находили общий язык с самыми разными людьми, легко осваивали новое место работы. Наш дом всегда был прост и аскетичен, словно в любую минуту нужно собрать узелок и снова куда-то переехать. Я полагала, что так и нужно, что в СССР так живут все, и только попав в старую московскую квартиру Качалиных на Чеховской, поняла, чего была лишена в детстве, да и в юности – старых вещей, с которыми связаны какие-то воспоминания, старых книг, на которых не стоит штамп библиотеки, старой, пусть и немодной мебели…

В Ургенче родилась я.

Но беда от нашей семьи не отставала. Я заболела паратифом, и тогда впервые меня спасли от смерти, но не врачи, а простой узбек, который дал какое-то лекарство на основе граната. Кажется, это было уже в Ташкенте, куда меня вывезли на лечение. Там же родился братик Фридрих, которого папа так и не увидел, потому что их с дядей Вильмаром арестовали за полгода до того. Арестовали в Ургенче, потому ни попрощаться с папой и дядей, ни даже услышать, за что арестовывают, мама не смогла.

Она довольно скупо вспоминала те страшные дни, словно боясь, что вернутся. Попыталась разыскать мужа и брата, даже ездила в Москву, собрав скудные крохи, но услышала только, что спрашивать нужно в Ташкенте. А еще узнала, что в Сибири есть большой лагерь, возможно, наши родные там.

Мама не любит вспоминать, а я не настаиваю, но сквозь скупые слова пробивается истина: кажется, она еще там, в Москве, поняла, что папы нет в живых, но дядю Вильмара найти надежда есть.

Три женщины – бабушка, мама и мамина сестра Терта – с двумя маленькими детьми сорвались с места и отправились в Сибирь, куда-то к Енисею, чтобы попытаться хоть чем-то помочь родным, если тех удастся разыскать.

Дядю Вильмара удалось, смогли даже передать посылку, папу – нет. Жить в холодной Сибири всем невозможно, бабушка с нами, маленькими, отправилась обратно в Ташкент. Там мы в очередной раз «хлебнули лиха» – заболели скарлатиной и братик умер. Я осталась жить.

Конечно, я всего этого не помню, но то, как нас выселяли из Ташкента, помню. Уже шла война, в Ташкент прибывали эшелоны с эвакуированными, которых надо было где-то размещать. Приезжали столичные театры, институты, чиновники, наверное, мы должны освободить место. Только к чему столичным чиновникам наши глинобитные клетушки-мазанки?

И все равно нас выселили из Ташкента.

Начались новые скитания…

Не знаю уж как, но мы оказались на территории Киргизской ССР, хотя там совсем недалеко, школьницей я часто разглядывала карту СССР, пытаясь осознать, где мы жили и как далеко перебрались после войны. Возможно, это тоже сыграло роль в принятии решения стать геологом.

В первый класс я пошла во время войны в Джамбуле, в Казахской ССР.

Не смей говорить по-немецки!

Это не шутка, я действительно в детстве сотни раз слышала такое требование от мамы.

Дома в СССР мама с бабушкой говорили меж собой на пляттдойч – южнонемецком диалекте, но мне просто запрещалось использовать хоть одно немецкое слово вне дома. Все детские годы в СССР, которые я помню, это годы войны, когда слово по-немецки могло дорого обойтись. Я, как и все вокруг, ненавидела фашистов всей душой, однако не понимая, что принадлежу к той же нации.

Мама и бабушка никогда не рассказывали, но сейчас, много в жизни испытав, я понимаю, каково им было. Вокруг люди, потерявшие на фронте родных, беженцы, оставшиеся без крова, жестоко пострадавшие, и им все равно, этнические ли мы немцы. Немцы, и все тут. И это в глубоком тылу, а что же там, где проходили бои, на оккупированной территории? Разве станешь каждому объяснять, что никогда в жизни не видели не только Германии, но и современного, а не этнического немца?

Отчаянье людей, чьи судьбы сломала война, лишало их способности объективно относиться к тем, кто не виновен в ужасах, творимых нацистами, но принадлежал к немецкой нации.

Помню вопрос:

– Твой папа на фронте?

– Нет, он в лагере…

– А… враг народа… А мой бьет проклятых фашистов!

Что я могла ответить? Ничего.

Мама просила:

– Молчи, только молчи!

Она не могла ничего объяснить мне самой, уговаривая перетерпеть.

Помню, однажды я попросила бабушку:

– Давай перестанем быть немцами?

Представляю их чувства, когда нельзя сказать, что все родственники в лагерях вместо фронта, что не ждут военных треугольников, как другие, что их фамилии Герман и Мартенс.

Мама с бабушкой «вспомнили», что бабушка в девичестве

была Фризен, а это голландская фамилия. Фризены переселились в Россию из Голландии, а та оккупирована Германией, города, такие, как Роттердам, разбомблены, голландцы страдают не меньше других. Видимо, тогда мама и записала себя в голландки. Позже, уже в Польше, она даже восстановила документы (думаю, просто создала их, потому что архивы Голландии пострадали не меньше польских или немецких), получив подтверждение, что лично она голландка. Это страшно возмущало маминых родственников, которые не собирались отказываться от своей национальности.

Но мама спасала не только и не столько себя, сколько меня.

Еще одно детское воспоминание: День Победы. Этот праздник должен писаться большими, просто огромными буквами. Тяжело досталась победа всем, очень тяжело.

На улицах обнимались все со всеми, какой-то солдат, видно, недавно вернувшийся с фронта из-за ранения, голова так и была в бинтах, подхватил меня на руки, подбросил вверх:

– Победа, дочка, понимаешь, победа!

Я, совершенно не думая, что делаю, счастливо переспросила:

– Wir haben gewonnen? (Мы победили?)

Улыбка буквально сползла с его лица, взгляд стал даже чуть растерянным…

– Немка, что ли?

И я допустила вторую ошибку, быстро кивнув:

Мгновение он сомневался, потом положил тяжелую руку мне на волосы:

– Иди домой, дочка, и никому не говори, что ты немка.

Я никому не рассказала об этом, но хорошо запомнила. Даже победе над немцами по-немецки радоваться нельзя.

Вокруг ждали возвращения родных с фронта, каждый день бегали встречать поезда, у кого-то были слезы радости, у кого-то горя, а у меня… Официально мы не знали, где отец, но неофициально мама знала, что он расстрелян. Десять лет без права переписки не оставляли возможности возвращения. Потом оказалось, что Ойгена Германа расстреляли в сентябре 1938 года.

Ко времени окончания войны мама была замужем во второй раз за поляком Германом Бернером. Было ли это настоящее или фиктивное замужество, была ли любовь, не знаю, это мамино дело, это их с Германом отношения. Я даже не уверена, что мама рассказала ему о своем происхождении. Может, тогда и родилась мысль стать голландкой?

Герман Бернер вошел в нашу семью весной 1942 года, но совсем ненадолго, вскоре он уже отправился в организованное в

СССР Войско Польское. Считается, что героически погиб в ходе боев, но по некоторым признакам мне кажется, что Герман жив. Может, ему вовсе ни к чему жена-немка?

Очень возможно, потому что быть немцами в послевоенной Польше еще хуже, чем в далеком Джамбуле.

Я очень боюсь касаться этого вопроса, не хочу ворошить прошлое, но чтобы даже самой себе объяснить мамино поведение во время войны и особенно после нее, вынуждена это делать.

Конечно, мама в Джамбуле или даже в Ташкенте знать не могла, что происходит в далекой Польше, ей казалось, что в любом уголке мира за пределами СССР она будет на свободе без опасности оказаться, как папа или дядя Вильмар, в лагере.

Сразу после окончания войны лицам польской национальности было разрешено отказаться от советского гражданства и переселиться в Польшу. Конечно, основной поток переселенцев шел с территорий, прилегающих к Польше, но в него влились и мы трое – бабушка, мама и я. Мама подала документы на репатриацию как жена польского офицера. Нам разрешили выехать.

Помню, мама вся светилась от радости, собирая немудреные пожитки, я понимаю, ей казалось, что освобождение близко. Она не вспомнила ни о ком из оставшихся родственников, подозреваю, чтобы не испытывать судьбу. Бабушка была куда менее радостна, ведь в Советском Союзе оставалась ее дочь Герта (дядя Вильмар к тому времени погиб в лагере в Котласе). Кто знает, как на ее судьбе скажется отъезд матери и сестры?

Но остаться одна в безвестности уже очень больная бабушка не могла, она ехала с нами, тем более это она была «главной голландкой» в нашей семье.

Я числилась полькой по отцу, ведь он родился в Лодзи… Мама была супругой поляка офицера Войска Польского…

В общем, оснований для отъезда оказалось достаточно.

Мама говорила, что последней фразой, которую она услышала на территории Советского Союза от советского пограничника, было замечание, что не все так хорошо в Польше, как они думают…

В Польше не могло быть все хорошо, ведь война закончилась год назад, многие города еще лежали в руинах, жилья не хватало, работы тоже не было, особенно для тех, кто плохо знал польский, как мама.

– Мама, мы едем к родственникам Германа?

Что мама могла мне ответить? Что когда-то семья Бернеров жила по такому-то адресу в Варшаве? Но кто сказал, что мы

нужны этой семье со своими проблемами, и кто сказал, что дом на улице Длуга сохранился? А что, если Герман и вовсе не писал домой о своей «русской» жене и ее дочери?

Я не понимала, что происходит, понимала только, что в Польше у нас нет даже того, что было в далеком Джамбуле – жилья, работы и друзей. Язык похож и не похож одновременно, если прислушиваться, то понять, о чем речь, можно, но как самой?

Бабушка плакала, а мама держалась стойко. Они старательно, иногда даже слишком громко говорили по-русски, чтобы всем было понятно: они из Советского Союза.

– Не вздумай и слова сказать по-немецки! Здесь нельзя, совсем нельзя.

Мама была права, в 1946 году в Польше заговорить по-немецки значило навлечь на себя не просто неприятности, а огромные неприятности. У поляков было право не любить своих западных соседей, от которых сильно досталось, на обиду, тем более смертельную, редко отвечают любовью, это понятно, немцев не любили, даже ненавидели.

– Забудь о том, что ты знаешь немецкий! Дома говорим только по-русски.

Вот так, в Советском Союзе мы говорили на пляттдойч, а в Польше только по-русски.

Мы не просто не остались в Варшаве разыскивать родственников отчима, но и отправились как можно дальше в глубинку, в Нову-Руду. Маленький городок совсем рядом с Чехией, и от Германии недалеко. Но немцев там, кажется, не осталось, если таковые и жили до войны, или они, как мы, старательно делали вид, что поляки или чехи? Возможно, когда приходится отвечать за свое происхождение, появляется необходимость прикинуться кем-то другим.

У меня вполне славянская внешность – светлые волосы и глаза, – она вопросов не вызывала, как и имя Анна. Маме было трудней, Ирма – имя вовсе не голландское, а вполне немецкое, к тому же польского она не знала. Это сильно ограничивало возможность найти работу и жилье. Хорошо, что не все поляки знакомы с голландским именословом.

Сначала жили где попало – даже на вокзале, у добрых людей, которых много по всему миру, потом маме посоветовали пойти работать в прачечную, потому что там могут дать крошечную комнатушку в общежитии.

Моя мама, имевшая высшее образование и знавшая несколько языков, стала работать прачкой только ради жилья, потому что ни

снять его, ни тем более купить мы не могли. О том, чтобы преподавать, как в СССР, немецкий язык, не могло быть и речи.

Немного погодя я уже вовсю говорила по-польски, учила язык и мама. Перед войной она преподавала в институте, но теперь речь могла идти только о школе, причем младших классах. Но даже такой работы для нее в Нова-Руде не нашлось.

Моя мама не из тех, кто сдается, даже когда выхода нет никакого. Она решила переехать во Вроцлав, это все же куда больший город, там могла быть работа учительницы.

Но мама зря надеялась, что ее со знанием нескольких языков возьмут хотя бы в школу, просто она плохо знала основной язык Вроцлава – польский. И еще неизвестно, кто прилежней учился, я или мама. И все же наступил момент, когда ее приняли в школу учительницей младших классов. Это была победа, настоящая победа, это означало хоть какое-то признание на новой родине.

Позже бабушка говорила, что мама не раз задумывалась, не вернуться ли в СССР, но куда? Кто там нас ждал? Где-то в Сибири и Казахстане родственники, но их еще нужно найти. Даже если просто отправиться в знакомые места, то на что жить, пока найдется работа, да и на что ехать? И кто знает, как отнесутся власти к вернувшимся из-за границы, можно снова попасть под репрессии и оказаться в лагере.

Мама работала учительницей до тех пор, пока у нее совсем не стали сдавать глаза, работала, превозмогая себя, потому что больше содержать нас с бабушкой было некому.

Дома говорили только по-русски, снова тщательно скрывая свою немецкую кровь. Евгений Герман, как теперь мама звала папу, родился в Лодзи, отчим Герман Бернер погиб, сражаясь в Войске Польском. Игра фамилии и имени Герман шла на пользу, когда мама говорила: «Герман погиб под Ленинградом», все считали, что речь идет о моем отце. Мы не были в числе тех немцев, которые поплатились за бесчинства нацистов в Польше, маме удалось скрыть все, меня считали полькой по отцу и голландкой по матери.

И я совсем не против считаться полькой и русской, потому что Польша вырастила меня, здесь я научилась главному делу своей жизни – пению, здесь встретила свою любовь, здесь родился мой сыночек Збышек, здесь смогла побороть последствия катастрофы, снова выйти на сцену. И как бы я ни любила СССР, советских людей, таких сердечных, душевных, добрых, как бы ночами ни видела во сне наше жилье в Джамбуле, я все равно душой уже полька.

У человека Родина не только там, где он родился (а я родилась в Ургенче, это Узбекская ССР), но и там, где пустил

корни. Я пустила свои корни в Польше и вовсе не хочу, чтобы мой сыночек Збышек-маленький искал себе новую Родину взамен той, где появился на свет и сделал свои первые шаги.

Мама имела право лишить меня Родины в СССР, она попросту спасала и меня, и бабушку, и себя, спасала, как могла, даже если в чем-то ошибалась.

Но она подарила мне Вроцлав, прекрасную Польшу. А то, что здесь никто не подозревает, что мы немцы, не столь страшно, значит, мне не судьба быть немецкой певицей, и я об этом вовсе не жалею. Нет, я не отказываюсь от своей национальности, просто не вижу необходимости ее подчеркивать.

Когда мы освоили польский, стало легче.

Мне в школе вовсе не было трудно, я достаточно легко схватывала все, к тому же дети быстрей усваивают новый язык. Трудно только с грамматикой, а мама помочь не могла.

После войны люди были счастливы, несмотря ни на что, особенно те, у кого родные остались живы. Бытовые трудности казались ерундой. Теснота, нехватка продуктов или вещей? Чепуха, главное – нет войны!

Что я вынесла из детства в СССР?

Человек вообще из детства запоминает только хорошее, наверное, так устроена детская психика – отбрасывать плохое. Постепенно становясь взрослыми, мы теряем эту способность. Дети, особенно маленькие, живут сегодняшним днем, здесь и сейчас, это спасает их. Взрослые больше переживают из-за того, что было или что будет, чем радуются тому, что есть.

К тому же память бывает разная. Есть память разума и память сердца.

Память разума фиксирует события бесстрастно, вот она помнит, что что-то было не так, чего-то не хватало, что были боль, беда, страх.

Память сердца – это память эмоций. Ей неважно, что было голодно, важно, что Новый год встречали весело, что после дождя была яркая двойная радуга в полнеба, что весной поля за городом полыхали огнем диких красных маков, что платье, которое мама сшила мне из своего, получилось очень нарядным и имело белый воротничок…

У детей память сердца, взрослея, мы меняем ее на память разума.

Из детства я помню изумительный запах спелой дыни, крик развозчика: «Хлеб!» (он произносил скорее «хилеб»), журчание воды в арыке (так в Средней Азии называют уличные канавы, но

не сточные, а с чистой прохладной водой, словно рукотворные ручейки), большие круглые лепешки, испеченные в своеобразной печи, похожей на купол… В Джамбуле, где пошла в первый класс, помню удивительно зеленую улицу, красивую, скрытую в тени деревьев школу, а еще, конечно, звук большой черной тарелки на столбе, сообщающей о положении на фронте. Как только она оживала, эта тарелка, люди останавливались, оборачивались, с тревогой вслушиваясь в не всегда разборчивый текст, ведь у каждого на фронте был кто-то – муж, сын, отец, брат, просто родственник, война не обошла ни одну семью…

Когда война закончилась, мне было девять, достаточно большой возраст, чтобы понимать, что происходит. С каждым днем сообщения черной тарелки становились все радостней, голос диктора звучал уже не сурово и горестно, а напористо, а всех мучил вопрос: «Ну, когда же?!» Когда, наконец, проклятые фашисты (в Советском Союзе так называли нацистов) сложат оружие? Каждая женщина понимала, что еще один день войны – это еще сотни погибших, раненых, чьи-то оборванные жизни.

Вот это уже память разума, потому что начало войны я помню только эмоционально. Был плач, горе на лицах у всех, даже страх, потом бесконечные переезды, снова страх, особенно страх потерять маму и остаться в этом мире одной. Но даже воспоминания о страхе перебивали воспоминания о радости от встречи с присоединившейся к нам бабушкой.

Я невольно сравнивала, что помнит о Джамбуле мама и что я. Мама помнит голодную жизнь, бесконечный недостаток всего, сообщение о гибели своего брата Вильмара, хождение по чиновничьим инстанциям, борьбу с бедностью по всем направлениям…

А я воркование горлинки ранним ясным утром, тихое и ласковое, крик точильщика во дворе «Точу ножи, ножницы-ы…», шершавый бок спелого персика, говорок текущей в арыке воды, жаркий полдень, когда все, что могло, скрывалось в тени, и крики мальчишек, «бьющих фашистов» в игре…

Мама помнит зиму, я – лето, она – боль и страх, я – радость, она – бедность, почти нищету, я детские игры. Каждая из нас права по-своему, меня ведь мало заботила необходимость общаться с чиновниками, доказывая, что ребенку нужна смена климата, даже прятаться, чтобы не попасть лишний раз на глаза тем, кто может решить твою судьбу одним росчерком пера, вернее, одним подозрением, что ты не вполне лояльна.

Для меня, как для любого домашнего ребенка (я не зря говорю «домашнего», потому что во время и после войны невольно оказалось довольно много «потеряшек», которых

отправляли в детские дома, но они сбегали в надежде найти родителей или хотя бы родных), существовала защита от всего плохого и страшного. А у скольких детей такой защиты больше не было? Разлученных семей было очень много, во всем виновата война.

Одного такого мальчика я помню. Как он оказался один в Джамбуле, не знаю, но мы, как могли, подкармливали бедолагу, таская из скудных домашних запасов крохи, а он рассказывал, как я позже поняла, небылицы о своих «подвигах» в борьбе с немцами, о побегах и ужасах оккупации и жизни в детских домах. Дети мало понимали, что перейти через линию фронта мальчишке невозможно, где-нибудь да попался бы, а уж проехать половину Советского Союза на крыше вагона мальчишке лет одиннадцати незамеченным, без еды и воды…

Потом оказалось, что он просто отстал от поезда, в котором эвакуировали их детский дом, а на крыше проделал путь от Ташкента до Джамбула. И через линию фронта, конечно, не переходил, а вот его друг действительно выбрался с оккупированной территории, но другу было пятнадцать. В Ташкенте они намеревались сесть в поезд, идущий на запад, чтобы «вернуться в строй», но наш приятель забрался на крышу не того вагона, а когда понял ошибку, было поздно.

Месяца два он развлекал нас рассказами о борьбе с фашистами, а потом его выловили и снова отправили в детский дом.

Однажды кто-то из ребят сказал, что я знаю немецкий, потому что мама его преподает.

– А ну, переведи!

– Что?

– Хенде хох!

Я удивилась:

– Руки вверх.

– Правильно. А Гитлер капут?

– Гитлеру конец.

– Ты смотри, знает.

Но тут возмутились остальные:

– Да это любой знает! Ты чего-нибудь заковыристое спроси, если в разведку ходил и с немцами разговаривал.

«Заковыристое» спросить не удалось, герой не знал по-немецки больше ни слова. Он упрямо замотал головой:

– Слышать не могу этот язык, и вспоминать ничего не хочу!

Мы согласились.

И все равно это были счастливые годы.

Несмотря на неустроенность, плохое питание, постоянные тревоги, мы были по-детски счастливы. Дом глинобитная мазанка с довольно низкими потолками? Ну и что, крыша же над головой есть, не течет, и хозяева добрые, норовят помочь, чем могут. Кажется, мама сказала, что мы из Великокняжеского, то есть эвакуированы. Тогда лишних вопросов не задавали, все, кто прибыл с территорий, занятых немцами или близких к линии фронта, считались беженцами.

Многие теряли документы или вообще уезжали, уходили безо всего, им выписывали новые, основываясь только на словах. Неудивительно, стоило посмотреть в глаза несчастных, лишенных крова, потерявших родных, а иногда и надежду на возвращение к нормальной жизни людей, как все становилось ясно.

Некоторые бывали в пути обворованы, преступникам нет дела до чужих страданий, таким тоже выписывали документы с их слов. Это все я знала со слов взрослых.

Конечно, находились и обманщики, выдававшие себя за других, как проверить, кто ты, откуда ты? Документы, выписанные в пути, давали возможность получить новые по прибытии, например, в Ташкент. А дальше уж как получится.

Недалеко от нас жила такая семейная пара, однажды их арестовали, потому что они присвоили себе документы попутчиков, отставших от поезда где-то по пути в эвакуацию. И такое бывало. Но все же абсолютное большинство людей прибыли в Среднюю Азию в эвакуацию вместе со своими заводами, институтами, театрами, государственными учреждениями. Они честно трудились, стараясь внести свою лепту в будущую победу.

Вот это я помню хорошо: даже в самые трудные дни, когда шла Сталинградская битва, когда казалось, что страшная сила с черными свастиками вот-вот одолеет, все верили в победу Красной, а потом Советской армии.

Наверное, будь мама хитрей или изворотливей, она могла бы и нас выдать за беженцев, ведь она училась в Одессе и прекрасно ее помнила. Сознаваться, что они из Великокняжеского, нельзя, село немецкое, оттуда не отправляли в эвакуацию, а отселяли в самом начале войны.

Но мама не умела лгать, все, что она могла – не говорить всей правды, например, где ее муж и брат, где остальные родственники. Выдавать себя за беженцев мама с бабушкой не стали, они не отказались от биографии, но при первой же возможности предпочли покинуть Советский Союз, решив, что в Польше им будет свободней и спокойней.

Иногда я думаю, что было бы, останься мы в СССР? Как сложилась судьба? Стала бы я певицей?

Ну, что не встретила своего Збышека, ясно, польские инженеры не ездили в командировки в Казахстан или Узбекистан.

Но случилось то, что случилось, сначала бабушка и мама, потом я, как могли, боролись с несчастьями, сваливавшимися на нас, каждой хватило сполна, не сдались, победили. Маме досталось в полной мере – сначала страх осиротить меня и оставить без помощи бабушку, бесконечная борьба с чиновничьим произволом, борьба просто за жизнь, потом болезнь, приковавшая к коляске бабушку, а потом страшная катастрофа, превратившая в беспомощную куклу меня.

Сколько раз, просыпаясь ночами, особенно в реабилитационном госпитале, где маме не позволяли оставаться на ночь, чтобы я была вынуждена привыкать к самостоятельности, я боялась, что утром ее не увижу. Вернее, я не спала ночами, не могла закрыть глаза в одиночестве, все казалось, снова очнусь закованной в гипс по уши и никто не придет на помощь. Маме пришлось сделать тяжелый выбор между мной и бабушкой, думаю, ей помогла сама бабушка, понимающая, что мне помощь даже нужней.

Когда бабушка умерла, мне даже не сообщили, хотя, что я могла бы сделать? Ничего, даже проводить ее в последний путь не могла.

Часто повторяла тем, кто знал мою бабушку, что она лучший человек в мире. И несогласных со мной не бывало, Анну Фризен побаивались и любили.

Маме всегда было некогда, она много работала, ведь жили мы на ее небольшую учительскую зарплату, и воспитывала меня бабушка. Воспитала в строгости и скромности, как принято в немецких семьях вообще, и меннонитских в особенности. Девочка должна научиться вести домашнее хозяйство, уметь делать всю домашнюю работу – шить, вязать, готовить, должна быть аккуратной, трудолюбивой, терпеливой, усердной, работящей и при этом хорошо учиться. Ни в коем случае не сквернословить, должна быть скромной и вежливой.

Чистая одежда, чистый дом, чистая душа, все чистое, что довольно сложно в этом мире.

Я никогда не слышала дома грубых слов, не говоря уж о ругани. Конечно, этого не избежать вне дома, но хорошее воспитание как прививка, если дома не допускают мысли о выпивке, то человек и вне дома пить не станет, если родные не сквернословят, и у него язык не повернется произносить ругательства. А уж девочка, девушка тем более.

У меня была хорошая прививка в виде моей бабушки. Мне

кажется, она и родилась в своих круглых очках с тонкой оправой, серьезным взглядом и зачесанными назад, аккуратно забранными в пучок волосами. У бабушки был мужской взгляд, поджатые губы, строгость в обращении и добрейшая душа.

Благодаря бабушке и маме мое детство не было босоногим в прямом смысле этого слова, моя обувь всегда была чистой, платья впору и выглажены, ленточки в косах нарядные, хотя и скромные, волосы вымыты. Можно иметь одно-единственное платье, но оно должно быть в порядке.

У нас не было возможности заказывать наряды у портних, мне даже концертные платья долго приходилось шить самой, но это не мешало выглядеть не хуже других. Главное – аккуратно. Это исповедовалось и в Польше, и в далеком Узбекистане. До Джамбула я себя помню плохо, во-первых, была маленькой, во-вторых, частые переезды не способствовали запоминанию лиц, жилья и событий.

В 1979 году я приехала на гастроли, в том числе и в Джамбул. Это было волнительно, хотя я прекрасно понимала, что через три десятка лет не узнаю город и горожане не вспомнят меня саму.

Конечно, не вспомнила и не вспомнили, но я не настаивала, мало ли как аукнется людям знакомство с иностранкой… Для Джамбула я была иностранкой.

И все-таки Узбекистан – это родина, в Ургенче мы прожили недолго, этот город я не могла помнить вообще, Ташкент не помнила, к тому же после землетрясения он отстроен заново и стал еще красивей. Не помню Орловку в Киргизии, там жили недолго. А вот Джамбул в Казахстане помню, там я пошла в школу уже без перерывов и училась до десяти лет, пока мы не уехали после войны в Польшу.

В памяти остался развозчик хлеба, скрип арбы (большой повозки), ажурные кроны деревьев, журчание воды в арыке и напев без слов, который обычно слышался из соседнего дома, там жил сапожник, который напевал, работая.

В памяти остались хорошие люди, добрые и вовсе не считавшие нас врагами народа только из-за того, что родственники расстреляны (а позже реабилитированы). Наверное, детская способность забывать плохое здесь ни при чем, мама и бабушка тоже вспоминали соседей и знакомых добрыми словами, в отличие от чиновников.

Мои песни

Песни и Збышек-маленький – вот главное, что я сделала в жизни.

Песни написаны моими друзьями (тех, чьи песни я пою, я имею право называть друзьями), но они все равно мои, потому что я пропустила песни через себя, через свою душу, иначе петь не умею. Збышек плод большой любви.

Дело не в том, что я люблю петь, я просто не могу этого не делать. Но петь можно у костра под гитару, в компании во время застолья, в самодеятельности и даже просто себе под нос на кухне. Я не могу не петь со сцены, мне кажется, способна сказать людям что-то такое, что им очень нужно, чего они ждут, покупая билеты на мои концерты или пластинки в магазинах, у меня есть что сказать.

Это не самомнение, не гордыня, не самоуверенность, и дело не в том, что я много перенесла, многое преодолела, как раз об этом я стараюсь не напоминать, не подавать вида, что больно, что плохо, что почти каждое движение и сейчас дается с трудом. Я не жду жалости или восторга по поводу своего «героизма», это не позерство, просто действительно не хочу, чтобы на меня смотрели, меня слушали хотя бы в какой-то степени из-за той проклятой аварии.

Нет, я знаю, что могу дать людям то, что им нужно.

Откуда такая уверенность, ведь сотни талантливейших певцов и певиц дают людям то, что их развлекает, помогает отвлечься от повседневной жизни, бывает просто приятно или, наоборот, зовет к борьбе.

Многие исполнители куда популярней меня, собирают большие залы, чаще гастролируют, выпускают пластинки миллионными тиражами, поклонники за ними ездят и летают по всему миру. Почему же я считаю, что делаю все правильно? Вернее сказать, делала.

Когда Збышек подрастет настолько, чтобы оценить мое пение по-настоящему, поймет ли он мою правоту относительно меня самой?

Года три назад у меня брал интервью эстонский журналист Анте Паю. Большое интервью, пространное, разговор, который я назвала исповедью. С того самого дня и начались наши исповеди в письмах друг перед другом.

Но сейчас не о наших отношениях, хотя хочется отмести все домыслы и глупости и сказать, что всего несколько встреч и

множество писем тоже могут означать любовь. Бывает любовь на расстоянии, по переписке, любовь-единомыслие, если так можно назвать.

Анте спросил, почему я пою преимущественно о любви.

В ответ хотелось спросить, о чем же еще мне петь, но я невольно задумалась. Действительно, почему я пою о любви? Что я хочу донести до зрителей и слушателей?

Я попробовала объяснить это Антсу, а скорее самой себе.

Меньше всего мы дарим любовь тем, кого любим больше всего. Как это? Больше всего мы любим своих близких, но так ли часто мы им говорим об этом, так ли часто напоминаем им о своей любви. Я не призываю к сюсюканью или экспрессивным объятьям и клятвам, но многие ли обнимают своих вернувшихся с работы мужей или целуют жен не мимоходом, а нежно, потому что любят. Даже любовь к своим детям у нас несколько навязчива, это любовь собственников. Я всегда старалась такого избежать, но и у меня бывало…

А маме или отцу, своим бабушкам и дедушкам часто ли мы говорим о том, что любим их?

Конечно, главное не слова, а дела, но ведь это так просто – обнять, поцеловать, приласкать, сказать, что любишь, ценишь, жить не можешь без любимого, без мамы, без своего ребенка… Это так легко и… трудно одновременно. Мы слишком заняты делами, серьезными, важными, неотложными. Или просто устали. Или в плохом настроении. Или просто невнимательны.

А жизнь проходит минута за минутой, день за днем, год за годом. У страшно занятых взрослых людей не хватает времени и сил (а часто и желания) сказать своим детям, что они любимы, сказать это своим родителям и даже своим любимым. Мы привыкли считать, что объяснения в любви достаточно всего одного, остальное само собой разумеется.

Однажды, еще будучи студенткой, услышала, как парень довольно резко бросил девушке:

– Я же уже сказал, что люблю тебя, чего ты еще хочешь?

Но ведь сам-то хочет, чтобы давали понять, что его любят. Каждый человек на Земле хочет, чтобы его не только любили, но и не забывали в повседневной суете говорить об этом.

Поэтому я решила, что если уж люди пришли в зрительный зал и готовы слушать меня два часа, то я должна им в тысячный раз повторить об этом прекрасном чувстве – любви, чтобы они напоминали о нем друг другу. Пусть кто-то другой развлекает публику танцевальными мелодиями или простыми ритмами, сдобренными разными сценическими эффектами вплоть до пиротехнических. Пусть другие поют песни протеста.

Это их поле деятельности, а у меня свое, я напоминаю людям о том, что самое прекрасное в жизни – любовь. Любовь мужчины и женщины, любовь к детям и родителям, ко всем людям на Земле, ко всему, что нас окружает, к самой жизни.

Снова пафосно, и снова иначе нельзя, не получается. Мы умудрились затереть, принизить самые главные слова, потому, когда их произносишь, кажется, будто повторяешь навязшее в зубах, надоедливое или попросту фальшивое. Печально.

Это очень трудно – говорить и петь о том, что словно само собой разумеется или, напротив, поставлено на недосягаемую высоту, и при этом не скатиться в пошлость или фальшь. Петь о любви чисто-чисто не так легко, как кажется, для этого в нее нужно верить. А петь вполсилы – значит фальшивить и скатываться в пошлость.

Так что я не выбирала самый легкий путь, хотя не открыла на эстраде ничего нового, не стала иконой нового стиля, мне не будут подражать, как Битлам или «Абба», мои поклонники не ездят за мной из города в город, из страны в страну, не расписывают футболки моим именем, не раскупают какие-то вещицы, со мной связанные, на аукционах. Но если они приходят в залы, чтобы послушать песни о любви, значит, в таких песнях есть потребность.

Это мое место, моя потребность, счастливо совпавшая с потребностью тысяч людей. И я счастлива, что смогла им многое дать.

Одна из самых любимых песен – «Эхо любви».

Актер Евгений Матвеев снимал фильм «Судьба» о воине.

Почему-то он решил, что в фильме должна звучать песня в моем исполнении. Роберт Рождественский и Евгений Птичкин его поддержали, и быстро были написаны текст и музыка. И то и другое просто потрясает.

Увидев клавир и текст, я даже не просто не раздумывала, а ухватилась, как говорят русские, обеими руками. Не спеть это невозможно!

Прилетела в Москву на запись. Режиссер учел мои пожелания, которые, кстати, даже высказывать не пришлось, – записывать «живьем», то есть с оркестром, а не под фонограмму. Оркестр отменный, все подготовлено. У меня слезы в горле комком, само горло сжало так, что не вдохнуть, потому что текст и музыка потрясающие.

Начинается репетиция, и вдруг происходит что-то непонятное – оркестр сбивается. Я решила, что виновата, не вовремя вступила, не ту тональность взяла. Прошу повторить, но

повторяют и без моей просьбы. Обычно у меня все проходило хорошо, без сбоев, но на сей раз что-то странное.

Оркестр второй раз играет вступление, я вступаю и… снова сбой. Такого не бывало никогда, я в растерянности, почему не получается? И вдруг вижу на глазах у оркестранток слезы. Кто-то смахивает тайком, кто-то вытирает откровенно. Не я виновата в сбое, а музыка.

С третьей попытки удалось записать.

Выхожу из студии в комнату к звукооператору, где собрались Матвеев, Птичкин и еще множество поддерживающих:

– Евгений Семенович, еще дубль?

Он буквально сгребает меня в объятья, забывая, что я сломанная кукла и обнимать сие хрупкое создание не рекомендуется:

– Какой дубль! Все записано! Лучше не споешь!

Тут я понимаю, что плакали все присутствующие.

Эта песня стала очень популярной, в ней действительно одинаково сильны и текст, и музыка, пробирает до глубины души. Потом мы пели ее со Львом Лещенко на новогоднем концерте, причем Лещенко, который одного со мной роста, но на каблуках я выше, пришлось поставить чуть в отдалении на лестнице на пару ступенек выше.

Где бы и когда ни исполняли, песня всегда вызывала не только аплодисменты, но и слезы. Видеть, как в зале плачут не только пожилые, много пережившие люди, но и молодежь, волнительно.

Значит, можно сказать о главном – о любви, не затерто, так, чтобы до слез трогало за душу? Просто и текст, и музыка, и сам фильм делались с душой.

Вот секрет, чтобы не скатиться к пошлости – делать все с душой, тогда самые привычные, примелькавшиеся, затертые слова вдруг начнут звучать искренне, чисто и по-новому.

Снова пафосно? Зато верно.

Когда я уже едва держалась на ногах, вернее, на одной ноге, на вторую наступить не было никакой возможности, так и пела, стоя, как цапля, на одной ноге, отставив вторую, словно кокетничая, потом с трудом доползла за кулисы с охапкой цветов и услышала:

– Дорого заплатила за эти цветы?

Фраза сакраментальная, потому что я и впрямь заплатила дорого, но не деньгами, а невыносимой болью, однако поняли ее все именно так, как желала произносившая: сколько я дала денег, чтобы цветы преподнесли именно мне?

Да, знаю, у артистов бывает и такое, когда они просто

оплачивают несколько букетов, в зале словно срабатывает пусковой крючок, люди, видя, что выступающему дарят цветы, отдают и свои букеты, даже если собирались преподнести совсем другому. При этом выигрывают те, кто любит спускаться в зал и ходить с микрофоном между рядами. Сейчас есть такие микрофоны, которые не привязаны к стойке, это очень удобно. Но даже если бы я любила расхаживать между рядами, это оказалось невозможным из-за моего роста, думаю, зрителям не слишком понравилось бы видеть перед собой мои колени. Я всегда стою, и обычно чуть в стороне от остальных участников концерта.

Даже это считается пренебрежительным отношением к коллегам, но тогда дело было не в моем росте.

Невыносимо болела нога, настолько, что я не могла на нее наступить, распухла, став вдвое, если не втрое толще, но это хоть под платьем скрыть можно, а как быть с тем, что я способна передвигаться только вприпрыжку? Режиссер концерта придумал выход: свет пригасили, и я, опираясь на руку кого-то из музыкантов, проковыляла к своему месту. К тому моменту, когда свет снова зажегся, уже стояла, выставив носок туфли больной ноги в сторону, чтобы ненароком не опереться на нее и не закричать от боли.

Моя нога многострадальная, она столько времени была на вытяжке, столько перенесла операций, что нагружать ее лишний раз не стоило. Больше всего я боялась упасть, это грозило неисчислимыми бедами, потому что последствия 49 переломов во время аварии сказываются до сих пор, я хрупкая фарфоровая ваза, но не по своей воле, а из-за ломаных костей.

После того как я спела положенные по программе песни, следовало уйти, но как?! Наступить на ногу невозможно, даже если я сдержу крик, ковыляющая певица не слишком хорошо смотрится. Свет бы снова пригасить… но об этом просто забыли. Придумали, как мне выйти, но не подумали, как уйти.

Дома Збыславу и маме я рассказывала об этом со смехом, но тогда на сцене была просто в ужасе. По лбу ручьями пот от боли, в глазах ужас от невозможности сделать хоть одно движение, а передо мной зал, который, видя, что я не ухожу, ждет продолжения выступления. Спетые песни криков «бис!» не вызвали, это были новшества, не ставшие сверхпопулярными, к тому же сказывалось мое состояние, пела из рук вон плохо, хотя публика аплодировала (из жалости?). У оркестра нот других песен нет просто потому, что я не рассчитывала их петь.

А ситуация безвыходная, со сцены мне не уйти. Не стоять же столбом, пока за кулисами сообразят снова пригасить свет! И я вдруг объявила, что хотя у меня нет нот песни «Когда цветут

сады», зато есть желание ее исполнить, а потому спою без оркестра.

Спела. Овация была долгой, а вот музыканты мой поступок восприняли как вызов. Если я пожелала петь без них, значит, и со сцены смогу уйти тоже без них. Как я добралась до кулис, плохо помню. Потом был врач и приговор: тромбофлебит. Серьезный тромб, который очень опасен.

Но еще тяжелей сознание, что делаю что-то не так.

У оперного певца или певицы большое преимущество перед эстрадными, они поют классику и главное – продемонстрировать свои вокальные данные и актерское мастерство. Если что-то не так со спектаклем или даже репертуаром, это вина режиссера, художественного руководителя театра и прочих. Оперные певцы могут себе позволить годами петь один и тот же репертуар, особенно если они не в антрепризе, а в постоянном составе театра. Конечно, и там немало закулисных склок, проблем и огорчений, но я говорю о репертуаре.

Репертуар эстрадного исполнителя должен постоянно меняться. Публика, которая приходит на концерты, и особенно на большие спортивные арены, на которых теперь модно проводить концерты, ждет новизны. Меняться, оставаясь самой собой, очень сложно, а иногда просто невозможно.

Тембр моего голоса требует определенных песен, не особенных, а именно определенных, я просто не могу петь рок или фолк, как это делает Марыля Родович. И из-за физического состояния скакать по сцене и даже просто быстро двигаться тоже не могу. Думаю, рок не пела бы и без аварии, но двигалась куда легче.

А лирические песни или романсы на аренах спортивных комплексов не поют, условия и настроение не те. В этом тоже моя беда, я камерная певица, лучше всего смотрюсь в небольших залах или вообще на студии записи. Вот почему концерты получаются куда проникновенней в небольших городах, не потому, что там публика душевней, просто там нет стадионных просторов, на которых теряется и лиричность, и даже сам голос.

Я начинала с маленьких городков и поселков, в группе Кшивки пела в сельских клубах, могла бы и сейчас. Но тогда я становлюсь совершенно «нерентабельной», понятно, что сельский клуб не соберет много публики, ее просто взять неоткуда, а переезды и перелеты стоят дорого.

У эстрадного артиста есть три стадии гастролирования. Вначале он поет там, куда позовут, кто-то, как я, бывает очень рад даже дальним, физически тяжелым поездкам, когда промерзаешь

в холодном автобусе, забывая об обеде, ужинаешь булочкой просто потому, что ресторан не по карману, когда рад каждому хлопку в ладоши и мечтаешь о сольном концерте, даже сольных гастролях…

Не все колесят по стране, некоторые предпочитают играть и петь в клубах, например в Варшаве, пусть даже просто за еду и выпивку, поют в прокуренных подвалах, но тоже мечтают о сольниках.

Потом некоторые признания добиваются. Следует участие в конкурсах, возможно, даже победы или хотя бы призы, приглашения на гастроли, свои пластинки и те самые заветные сольники. В идеальном случае свой оркестр или сопровождающая музыкальная группа, свои композиторы и поэты. Это самый верх.

Как долго на нем можно удержаться? Кто-то теряет позицию очень быстро, сезон, другой – и звездочки больше не видно. Кто-то держится несколько лет, кто-то долго. Но постоянно держаться на певческом Олимпе невозможно. Меняются слушатели, меняются вкусы, приходит другая музыка, даже если меняется сам исполнитель, он просто не может нравиться всем и очень долго.

А потом наступает третья стадия. Первыми исчезают сольники на стадионах и больших концертных залах, если в таких местах выступления и есть, то только в сборных концертах. Гастроли по стране, возможно, остаются, но уже не два концерта в день, а в лучшем случае два в одном городе. На телевидение приглашают все реже… А если и физическое состояние подводит, фигура уже не та, движения потяжелели? Голос может не спасти.

Многих выручают пластинки, потому что на обложках пластинок фотографии обычно не соответствуют действительности, там все молодые и красивые. Если голос остался, то можно продержаться еще какое-то время.

Начинающим, тем, кто на взлете или вообще на пике популярности, очень трудно представить, что их тоже ждет эта самая третья стадия. Однажды услышала, как этакая звездочка на час, вспыхнувшая одной-единственной песней и считающая, что теперь Олимп навсегда, раздраженно бросила своему спутнику:

– Как эти старички не понимают, что уходить надо вовремя?

Вообще-то она права, уходить действительно нужно вовремя, кстати, лично ее время в том сезоне и закончилось. Но где оно, это «вовремя»?

Когда я только приходила в себя после аварии и готовила новую программу, чиновница от эстрады посоветовала сменить репертуар, причем в корне.

– Пани Анна, сейчас так не поют. Вы рискуете на первом же выступлении уйти под стук собственных каблуков. Хотя, нет, вас будут слушать из вежливости.

Это удар, хотя произносившая фразу чиновница не понимала, что бьет наотмашь. Хватило сил выдавить улыбку (мне можно было и просто вымученную, все списывали на физическую боль и плохое самочувствие из-за травм):

– А как сейчас поют?

Собеседница заметно оживилась, кажется, решив, что я готова сменить репертуар по ее совету.

– Рок! Сейчас, пани Анна, поют рок. Вы слышали Марылю Родович? Она уверенно берет первые места на конкурсах и занимает первые места при учете зрительских симпатий.

Хотелось поинтересоваться, кто и как учитывает эти самые зрительские симпатии, но я спросила другое:

– А Эва Демарчик разве нет?

– Эва? – на мгновение задумалась чиновница. – Это та, что из кабака?

– Вообще-то из «Пивницы под Баранами», это популярное место в Кракове.

– Я же говорю: кабаре.

– Эва с успехом выступала и в Сопоте, и в Ополе…

– Ну, и где теперь ваша Эва? Поймите, время таких песен прошло, в крайнем случае, будете собирать половину зала старичков, тоскующих по прошлому. Молодежь поет иное.

Заметив мое явное нежелание продолжать дискуссию, она пошутила:

– Впрочем, вы можете оставить все как есть и еще долго рассказывать о катастрофе и петь лирику.

«Лирику» прозвучало как нечто почти презираемое, если не ругательное.

По моему каменному выражению лица чиновница, наконец, догадалась, что была не слишком тактична, и поспешила предложить послушать то, что у меня готово.

Я поняла, что спорить нам с дамой не о чем, но договариваться все же придется, и предложила выход: готовлю новую программу, в которой половина песен будет новых, какие она подскажет, а другая по моему усмотрению, пусть не старых, но тех, что мне по душе. А зрителей спросим, что им больше нравится.

Чиновница согласилась, но поморщилась:

– Сейчас для вас лучшая реклама ваша трагедия, потому постарайтесь не принимать всерьез волну этой популярности.

Ужасно, но не в бровь, а в глаз. Я очень боялась, чтобы на

мои концерты не шли посмотреть, на костылях я передвигаюсь или нет, и не стала ли калекой. Была такая опасность, наверняка нашлось немало тех, кто ради этого и приходил на меня посмотреть.

Но куда больше было других, кто вставал при моем появлении на сцене и долго аплодировал, не позволяя начать выступление. Не любопытство толкало этих людей, а желание поддержать, подбодрить, даже просто слышать мои песни.

Вернувшись домой, я первым делом включила радио и убедилась, что в эфире действительно царит Марыля Родович с ее задорным, молодым голосом. Может, редактор права, и я просто устарела?

Как можно устареть за пару лет?

Но я и раньше не пела рок, ведь Родович и Здислава Сосницка обладают иными голосами, Родович может петь с легкой хрипотцой и вызовом, а Сосницка пела в стиле Эллы Фицджеральд. У обеих прекрасные вокальные данные, напористость, мне не свойственная. Может, дело в том, что они обе лет на десять меня моложе?

Но, прислушавшись к себе, я поняла, что даже будь мне сейчас столько же, сколько им, все равно пела бы свои мелодии. Нет, каждому свое, сердце подсказывало, что мне нельзя отказываться от своей манеры исполнения, хотя она уже значительно отличалась от той, что была до аварии. Я словно стала в чем-то мудрей. Трудно не стать, побывав на самом краю, пролежав столько времени без сознания, а потом в гипсе.

Но мне кажется, что куда больше мою манеру исполнения изменил цикл «Человеческая судьба», и вовсе не потому, что это моя мелодия, сам смысл песен иной.

Я не стала петь «современно», исполнять рок, поп или фолк, как Марыля Родович или Здислава Сосницка, и как Эва Демарчик тоже петь не стала, у меня сложился свой стиль. Плох он или хорош, покажет время, нет, даже не через год или два, а через десять лет.

Если через десять лет кто-нибудь вспомнит хотя бы одну из моих песен, значит, я пела не зря. А уж если через два десятка лет у кого-то дрогнет сердце при звуках «Эха любви» или возникнет желание подпеть «Надежде», а может, кто-нибудь споет «Колыбельную» или еще какую-то из песен, если не забудут «Танцующих Эвридик», я буду аплодировать со своей маленькой звездочки там, на небесах.

А тогда меня от новшеств спасли зрители, пожелавшие видеть Анну Герман прежней, а еще «Надежда» и Анна Качалина,

прислала мне клавиры песен советских композиторов. Я не стала исполнять джаз или рок, я пела песни советских композиторов, за что огромное спасибо моей Анечке – Анне Николаевне Качалиной, моему московскому ангелу-хранителю.

Я не раз задумывалась, как долго эстрадная певица может быть интересна и что будет лично со мной, когда интерес публики ослабнет или вовсе иссякнет. Этого не случится, но вовсе не потому, что я буду сидеть дома и, довязывая носок, вспоминать былой успех. У меня даже этого носка не будет.

Но я была, и многое успела сделать – и песни спеть, и сына родить. Я состоялась.

Меня спрашивали, кто из советских исполнителей нравится.

Таких много, очень много, но в первую очередь Алла Пугачева. Наверное, я просто завидую ей белой завистью. Алла может то, чего не могу я, она раскована на сцене, никакого смущения, никаких сомнений. Голос сильный, но главное – она не просто поет, а играет каждую песню, проживает ее, у Пугачевой помимо сильного голоса блестящие актерские данные. Только бы в своем стремлении к этой раскованности не скатилась к обычной вульгарности. Если сумеет удержаться, то будет самой популярной певицей в Советском Союзе обязательно и очень долго. Она молодец.

Со многими меня познакомила Аня Качалина, мой добрый ангел. Со многими я бы хотела дружить, но как, если мы мельком встречались на концертах, а сольные выступления не предполагают долгого общения, я в одном городе, интересные мне люди в другом, я в Польше, они в Советском Союзе, я в Москве, они в Казани, я в Ленинграде, они в Киеве… Наша кочевая жизнь не предполагает тесной и долгой дружбы, особенно если вы живете в разных странах, вернее, имеете в разных странах дома.

Почему у меня в Польше не было такого успеха, какой был в Советском Союзе?

На первый взгляд все хорошо – удачные выступления в Сопоте, Ополе, с военными, в опере, пластинки, я постоянно оказывалась почетным гостем разных фестивалей и конкурсов… Вообще-то гостями становятся тогда, когда сами соревноваться уже не могут или не хотят. У меня так и было, я чувствовала, что становлюсь менее интересной публике, чем, например, Марыля Родович. Можно дать тысячи интервью, спеть во многих

концертах, уходя под овации и крики «Браво!», но при этом твои песни не будут петь хором за столом по праздникам.

Объяснение простое: песни не те. Да, «Танцующих Эвридик» ни на каком застолье не споешь. И «Зацвету розой» тоже. И «Человеческую судьбу».

А «Разноцветные ярмарки» споешь.

Как же так получилось, что при всем признании у меня в Польше не было ни своих песен, ни своих композитора и поэта, ни своего ансамбля. Что тому помехой? Сбила авария и мое отсутствие на эстраде целых три года? Возможно.

А еще то, что не вписывалась в современные рамки, пела лиричные, спокойные песни, когда на эстраде уже царили рок и твист. Возможно, не отправься я в Италию и не попади там в аварию, я нашла бы своего композитора, например для меня писала бы Катажина Гертнер, но я пропустила три года, а эстрада такого перерыва не терпит.

И своего оркестра или ансамбля у меня тоже не было, оркестр не потянуть, слишком дорого, а ансамбли не желали подстраиваться под немодную Анну Герман, им интересней играть рок.

– Анджей, у вас неплохая начинающая группа, не желаете выступать со мной?

– Что будем играть?

Я показала партитуру новых песен. Лицо у Анджея сразу стало скучным:

– Нет, пани Анна, кто же сейчас такое играет? Да меня ребята не поймут, если я предложу.

– А какое играют?

Если честно, меня обидело то, что этот мальчишка так легко отверг предложенные песни, даже не разобравшись, не попытавшись мысленно услышать мелодию. Да, то, что я предлагала, шедевром назвать трудно, скорее песни второго плана, которыми заполняют промежутки между популярными в концерте, но отказывать вот так… Все же у меня победа в Сопоте да популярность немалая.

– Вот Марыля Родович…

Договорить он не успел.

– Анджей, я не Марыля Родович и буду петь то, что пою! Мне нравятся ее песни и ее манера вести себя на сцене – свободно, раскованно, но это не мое.

– Ну так… – развел руками молодой музыкант.

– Если хотите аккомпанировать Марыле Родович, так и разговаривайте с ней, а не со мной.

Душила досада, я не завидовала, нет, но понимала, что без

музыкального сопровождения даже на сцену сельского клуба не выйдешь, нужен хотя бы пианист. Говорить о больших залах и вовсе не стоило.

Через несколько дней раздался звонок Анджея:

– Мы подумали, можно попробовать, но у нас есть условие.

Свое условие они озвучили при встрече. Парни были типичными рок-музыкантами, к чему им Анна Герман? Какая могла быть лирика, если у них главные в группе ударник и бас-гитарист?

И все же решили попробовать.

Что ничего не получится, стало ясно уже на первой песне, новая мелодия и без того не была интересной, а уж в рокоте переборов бас-гитары пропала совсем. Что я буду петь, а зрители слушать?

Но это оказалось не все, ударник раскритиковал аранжировку, тут же начав прикидывать, как бы окончательно угробить мелодию своими сумасшедшими вариациями на барабанах (я поняла, что перекричать этот грохот не смогу при всем желании), его поддержал гитарист, и через пару минут парни увлеченно переигрывали друг друга, совершенно забыв о моем существовании.

Пришлось напомнить.

– А, пани Анна… Мы хотели сказать о своем условии. Мы хотим, чтобы треть композиций была наша собственная. То есть вы отдыхаете, а мы играем. Так сейчас делают все, – быстро добавил Анджей, видя мое вытянувшееся лицо.

Я понимала, что согласовать с дирекцией эстрады такое сочетание будет нелегко, но вынуждена была согласиться, вернее, попросить:

– Покажите хотя бы одну вашу композицию.

– Ага.

Следующие полчаса я пыталась услышать хоть намек на мелодию в грохоте обрушившихся звуков. То ли я не понимала рок совсем, то ли они не умели его играть. Возможно, и то и другое.

К тому же, если у них все композиции такие – не только шумные, но и длинные, то что же в концерте останется мне самой, только отдыхать, пока ребята будут демонстрировать свое умение терзать барабаны и гитарные струны?

Пришлось объяснять, что у меня нет времени дослушать их композицию и еще что мне не подходит такой аккомпанемент.

Расстались недовольные друг другом.

– Пани Анна, вам нужно сменить репертуар, не то вас скоро совсем слушать перестанут.

Очень хотелось сказать в ответ, что их-то вообще не слушают, но я вежливо промолчала. Вот, пани Анна, тебе приговор. Оркестр нанять ты не можешь, современные ансамбли с тобой связываться не желают (не один Анджей такой), остается научиться играть на рояле и аккомпанировать себе самой.

Но смешного было мало, ни музыкального сопровождения, ни песен, не то что выступать, но и записать на студии не с кем.

Вздохнула и позвонила сама:

– Нет ли у тебя завалящей песни для меня, не хватает для большой программы.

Сначала интерес:

– А петь где будешь?

– В Советском Союзе. Приглашают на гастроли в Москву.

Сразу разочарование.

– Петь будешь по-русски, что ли?

– Нет, на польском. Я же польская певица.

– Хорошо, я попробую посмотреть, что есть, и обязательно перезвоню.

По тону было понятно, что «обязательно» вовсе не означает ничего обязательного. Ни моя персона, ни гастроли в Москве композитора не прельстили.

Второй звонок оказался еще менее удачным:

– Песня для тебя? К чему тебе мои песни, ты же сочиняешь сама. Ты у нас теперь композитор…

Профессионалы не прощают, когда в их дела вклиниваются дилетанты. Я написала музыку для «Человеческой судьбы», даже исполнила цикл и записала его на пластинку. Все успешно, но сама понимала, что львиная доля успеха в моем «возрождении».

Но я же не могла вечно напоминать зрителям и слушателям о своей трагедии, о своем восстановлении? Если уж вернулась на сцену, нужно искать новые песни, способные стать очень популярными. Писать такие для меня было некому. Катажина сотрудничала с Родович и менять певицу не собиралась, Краевский писал для своих «Червонных гитар», все остальные тоже были разобраны.

Песен нет, композиторов нет, оставалось писать самой для себя.

Я не композитор, и не потому что нет соответствующего образования (и певческого образования у меня тоже нет, не считать же таковым нерегулярные, хотя и очень-очень полезные

занятия с гениальными педагогами, тратившими свое драгоценное время на мое обучение просто из желания помочь, и учебу «вприглядку» за другими талантами прямо на сцене?), просто я не пишу музыку, скорее подбираю, наигрываю, а вот теперь просто напеваю родившуюся в голове мелодию. Я не композитор, я только создательница мелодий.

Как рождается мелодия? Для этого нужен текст. Если стихотворный текст берет за душу или просто почему-то нравится, рождается мелодия, которую я стараюсь записать, вот и все. Оркестровку и остальное делают другие, в этом я профан.

В Польше ни петь, ни записывать почти нечего. Все композиторы «разобраны», оркестры тоже, не повторять же уже пройденное. У меня много новых советских песен, но их нынешняя Польша и вовсе не жаловала.

Но Анна Качалина звала в Москву, записывать пластинки там.

А кто будет играть в Москве, ведь расписание оркестра Гостелерадио с изумительным Юрием Силантьевым с дирижерской палочкой в руках составлено на много месяцев вперед и перерывов в нем нет, нарушать график ради Анны Герман никто не будет. И оркестр самой фирмы «Мелодия» с Гараняном во главе тоже занят. Обычно никто ни под кого не подстраивался, оркестр записывался отдельно, когда появлялась возможность или просто нежданный перерыв в плотном графике работы, а голос певца просто накладывался на записанную фонограмму.

Я так работать не умела и не хотела. Как можно петь, не слыша живой музыки за спиной. Вообще не умею петь ни под оркестровую запись, ни тем более под фонограмму. Считаю фонограмму надувательством. Слушать в наушниках собственный голос и пытаться мимикой под него подстроиться, разве это не обман?

Первая пластинка у меня записывалась в Советском Союзе, тогда во время первых гастролей Анна Качалина предложила сделать миньон всего на четыре песни, потом решили записать долгоиграющую пластинку. Проблема в песнях, ведь я еще не пела русских песен, только польские, почему-то даже стеснялась разговаривать по-русски.

Работа не была сразу закончена, меня отозвали в Польшу, там «Польске награння» тоже решило выпустить пластинку с «Эвридиками».

Иногда я думаю, что было бы, не заметь меня Анечка Качалина? Кем бы я стала дома?

Именно Аня посоветовала мне петь песни советских

композиторов:

– У вас должно получиться.

Но это же изменило отношение ко мне дома.

В Польше меня и мои песни любили, особенно после катастрофы, в 1970-м году я даже получила титул самой популярной варшавянки. Но потом, пока я болела и восстанавливалась, обогнали более молодые и современные. Польше оказались нужны несколько иные песни, а ансамблям другие солистки.

Если честно, тогда я подумывала, не пора уходить с эстрады, ведь можно же петь арии в концертном исполнении (о том, чтобы профессионально выйти на оперную сцену, речь не шла, куда мне в оперу с моим ростом!), записывать музыку, подобную «Аве Мария», а мало ли приложения сил, тем более для меня, которой каждый шаг, каждое движение все еще давалось с трудом.

Но мне хотелось петь со сцены и петь о любви. Вот такая потребность.

Это было распутье, когда я записала арии из «Тетиды на острове Скирос» Доменико Скарлатти, поняла, что могу петь и оперу. Я никому не говорила о размышлениях, просто старалась хоть что-то делать – записала свой цикл «Человеческая судьба», ту же «Тетиду», пела с военным оркестром польские и советские песни военных лет, выпустила книгу, были изданы ноты «Человеческой судьбы», но я чувствовала, что все не то…

Я не композитор, даже хорошо аранжированные мои мелодии не желали становиться хитами, где-то в глубине души я просто боялась, что интерес ко мне и моему творчеству держится в какой-то степени на интересе к моей трагедии.

Ну надо же, смогла подняться и даже выйти на сцену!

Каждое интервью начиналось с вопроса об аварии и том, как мне удалось выжить, восстановиться, где я нашла силы. Если так, то права редактор, сказавшая, что не изменив свой репертуар, не сделав его более современным, я смогу долго держаться только на своих рассказах о трагедии и преодолении. А песни пойдут как приложение к этим рассказам.

Я не желала петь в приложение, я желала просто петь.

И тут очень пригодилась помощь Анечки Качалиной.

Збышек вздохнул:

– Конечно, ехать в Советский Союз, чтобы завоевывать популярность там, не лучший выход, но я понимаю, что это выход именно для тебя.

Думаю, он чувствовал, что в ту минуту я сделала выбор в пользу песен советских композиторов, хотя внешне это выглядело вовсе не так. Были выступления в Париже, съемки на польском

телевидении, концерт в Лондоне и даже гастроли в США, и только потом я отправилась с большой гастрольной поездкой в Советский Союз.

С тех пор гастроли по городам Советского Союза стали не просто постоянным, а основным моим занятием, я часто и подолгу ездила по самым разным городам.

Збышек спрашивал:

– Тебя хорошо принимают?

– Не просто хорошо, всей душой. Я на каждом концерте действительно отдыхаю душой.

– Значит, все хорошо, так и должно быть.

Какое счастье, что меня понял Збышек, потому что можно сколько угодно много гастролировать, быть сколь угодно успешной или, наоборот, неуспешной, но если нет поддержки в семье, дома, будет тяжело. Никакие хвалебные статьи или груды букетов, никакие заработанные деньги или толпы поклонников не заменят доброго слова тех, с кем ты живешь под одной крышей.

Я не просто благодарна Збышеку за поддержку, эта поддержка позволила мне стать тем, чем я стала. И не потому что он оставался дома с маленьким Збышеком, пока мама ездила по дальним городам и странам (я побывала, например, в Монголии!), а потому что мог просто помолчать, когда это требовалось мне, мог в сотый раз выслушать какую-то музыкальную фразу, не удававшуюся с первой и двадцать первой попытки, среди ночи слушать найденный пассаж и терпеливо объяснять по телефону на другой край Европы или в Америку, что Збышек-маленький кушал хорошо и весел.

Без его ежеминутной поддержки меня тоже не было бы как певицы. Збышеку я могла поплакаться, если что-то не получалось, если болело или просто не складывалось, с первых дней после нашей встречи и до дня нынешнего.

Это очень трудно – быть мужем гастролирующей актрисы, притом переломанной и больной.

Гастроли

Кочевая жизнь артиста…

Можно быть тысячу раз талантливым, миллион раз выдающимся, сотни раз неповторимым, иметь потрясающие вокальные и актерские данные, одним лишь появлением на сцене собирать тысячные стадионы, и при этом быть совершенно непригодным для актерской жизни, во всяком случае, для жизни гастролирующего актера.

Это особенно касается женщин. Если ты домоседка, привыкшая к налаженному быту, не умеешь жить с минимумом удобств и вещей, не мыслишь свое утро без чашечки хорошего кофе, без уютного кресла с книгой в руках перед телевизором, без болтовни с подругами по телефону или своего парикмахера, не умеешь обходиться без завтрака или ужина, если боишься носить тяжести, мерзнуть, мокнуть, париться в духоте и терпеть, терпеть, терпеть… то тебе нельзя быть гастролирующей артисткой. Эта неприкаянная, неустроенная, беспокойная жизнь годится только для тех, кому аплодисменты зрителей важней пропущенного обеда, радостные лица в зале – простуды и вечного нарушения распорядка дня, кто забывает о пустом кошельке, о том, что болит зуб, жмут туфли, что после окончания концерта магазины уже будут закрыты, а ресторан слишком дорого, и потому ужина не предвидится… забывает об этом всем, стоит только сделать шаг на освещенную сцену под взгляды зрителей или встать к микрофону для записи.

Такое цыганское, неприкаянное существование подходит мало кому, я знаю тех, кто даже спустя десятилетия так и не научился быстро собирать чемодан, укладывать в него ровно столько, сколько необходимо, сочетать вещи так, чтобы чемоданы не весили больше, чем можешь унести собственными руками, не научился обходиться без утюга или фена, делать маникюр самостоятельно и прическу тоже…

Я довольно долго сама шила себе концертные платья, потому что заказывать их безумно дорого, а в магазинах на меня ничего не найдешь.

А еще нужно научиться прощаться, ограничить общение телефонными звонками, письмами и не надеяться на постоянные отношения.

Но все проблемы куда-то исчезают, все трудности кажутся мелкими, неприятности забываются, когда ты выходишь на сцену. Сцена это особый мир, потому что в обычной жизни мы говорим с одним или несколькими людьми, а со сцены разговор идет со

многими. Именно разговор, а не монолог. Если установлен контакт с залом, то каждым своим вдохом, каждым смешком или всхлипом, каждым ударом в ладоши и просто молчанием сидящие люди рассказывают тебе, права ли, нужна ли им, хотят ли они новой встречи.

Гастроли – это каждый день новые люди, новый настрой, нужно каждый день начинать все сначала.

– Ой, да вышла, спела и ладно. Если пришли, будут аплодировать, только исполняй популярные песни и все.

Я не соглашалась:

– Просто спеть, обманывая надежды пришедших?

– На гастролях легче, особенно если далеко, куда больше не приедешь. Даже если что-то не так, зрители тебя больше не увидят, а ты их.

И снова я не согласна:

– Это еще тяжелей. Если я плохо что-то исполню перед теми, кто увидит и услышит меня лишь однажды, то они такой и запомнят, возможности исправить впечатление уже не будет. На телевидении хоть перезаписать можно, а на гастролях все один раз.

Конечно, были те, кто ходил на один концерт за другим, чьи лица я даже узнавала в зале, хотя за мной не ездили толпы поклонников, как за многими другими исполнительницами, но большинство бывало на моих концертах действительно всего лишь раз. Один раз не потому, что не хотели приходить еще, а потому, что не было такой возможности (во всяком случае, я надеюсь на это).

Я знаю многих, для кого гастроли, прежде всего, возможность пополнить бюджет, купить что-то, особенно за границей, повысить свою популярность и привлечь внимание к своей персоне иностранных импресарио.

Для меня многое из перечисленного актуально. Я тоже ездила и езжу на гастроли, чтобы заработать, привожу из-за границы все, что смогу, и популярность тоже выступлениями повышаю. Но главное не в том.

У гастролей есть две особенности, которые мне по душе.

Попробую объяснить.

Не касаюсь театральных подмостков, где актер должен играть и петь то, что определено партией в спектакле, репертуаром и видением режиссера. Не то чтобы я была самовольной или единоличницей, но мне легче исполнять то, что выберет моя собственная душа, и так, как она того пожелает. Это не

самоуверенность или самомнение, чтобы петь от души, я должна песню через душу пропустить, и если что-то не подходит, оно отсеивается, как бы ни было хорошо.

Но даже артисты эстрады выступают по-разному.

Талантливая Эва Демарчик много лет пела в краковских «Пивницах под Баранами», куда каждый вечер собирались поклонники, чаще всего одни и те же. Попасть в «Пивницы» было не так-то просто, мест там немного, вот и получалось, что почти каждый вечер Эва пела перед «своими». Исполняла замечательно, но немного погодя можно было предсказать реакцию зрителей на каждую песню, каждое слово.

Вот это не для меня.

Бывают актеры одной роли и исполнители одной песни, когда создается настоящий шлягер, который потом поется годами без особых изменений. Чтобы концерт не получился слишком коротким, к нему добавляется несколько проходных песен, и тем исполнитель живет годами. Такие певцы предпочитают участвовать в сборных концертах, потому что для сольных одной-двух популярных песен мало, люди могут не досидеть до конца представления, терпеливо ожидая полюбившуюся песню.

Это тоже не для меня. Мне не раз выговаривали, что разучиваю и даже записываю много новых песен, мол, это не всегда на пользу, не успевает одна запомниться, как следует другая.

Но, во-первых, далеко не все мои песни стали по-настоящему популярны, у меня тоже идет отбор, какие-то задерживаются надолго и навсегда, а какие-то иногда, на мой взгляд замечательные, не воспринимаются слушателями.

Но я разучиваю все новые и новые песни не ради того, чтобы из десятка осталась хоть одна, просто каждая новая песня – это еще один рассказ о любви, то, чем я хотела бы поделиться со слушателями. Это не высокие слова, ну как можно предпочесть «Надежду» «Эху любви», «Когда цвели сады» песне «А он мне нравится», «Колыбельную» романсу «Гори, гори, моя звезда»?.. Сравнивать можно долго, хотя они несравнимы, каждая своеобразна, каждую я люблю по-своему и зрители тоже.

Только «Эвридики» остались под запретом, я их не пою, слишком больно вспоминать.

Конечно, я не пою «Аве Мария» или польские песни во время гастролей в Советском Союзе, а когда езжу по США, куда меньше пою «Надежду», хотя и там просят исполнить. Песня – это разговор, а говорить с человеком на том языке, которого он не понимает или который не любит, некрасиво. Это не значит идти на поводу у публики, но к чему исполнять то, что не нравится?

На гастролях тем сложней, что публика предпочитает слушать то, с чем уже знакома по пластинкам или теле– и радиопередачам. Очень сложно заставить принять песню, которая исполняется со сцены впервые.

Пример – «А он мне нравится». Мне самой песня Шаинского на стихи моего приятеля Саши Жигарева понравилась с первых тактов и слов. Заводная, веселая, с юмором, хороши что мелодия, что текст, но… публика на первом исполнении ее в концерте была вежлива и только, никакого особенного восторга, никто не аплодировал в такт и не подпевал, хотя припев отличный.

Что произошло? Еще не уловили прелесть, я ничуть не виню зрителей, это я не сумела донести сразу.

Записали песню на пластинку, и на первых же гастролях (хотя случилось это не так скоро, я родила Збышека и была занята, очень занята материнскими заботами) попросили исполнить.

Вообще, правильно сказала Аня Качалина (она всегда права): песня сначала должна пройти обкатку на пластинке. Это означало, что хозяйка будущей популярности песни сама Аня Качалина, ведь она редактор фирмы «Мелодия». Хорошо, что хозяйка талантливая, она вывела в свет многих советских исполнителей.

Есть еще телевидение, показанная там песня почти наверняка станет популярной уже на следующий день, при условии, что она того стоит. Но у телевидения, неважно советского или польского, немецкого, американского… есть два минуса.

Первое – там жестокая цензура, я это не осуждаю, потому что неудачную или оскорбительную для кого-либо пластинку можно отправить в брак, а передачу в прямом эфире не исправишь.

Второе – на телевидении приходится исполнять все под фонограмму. Это мое мучение, категорически не умею петь лишь под звуки в наушниках, например в студии записи, прошу записываться с оркестром «живьем», я должна чувствовать каждый звук рядом с собой, а не в наушниках. А уж открывать рот, норовя попасть движением губ в собственное пение, и того хуже. Это надувательство, словно пою не я, а кто-то, а я лишь кривляюсь перед камерой.

Есть те, кто и на сцене норовит выступать под фонограмму, и таких становится все больше. Записывают концерт в студии, хорошенько редактируют, а потом выходят на сцену и… подстраиваются под самого себя. А зрителю каково? Может ли он быть уверен, что слышит именно Анну Герман, а не кого-то, записавшего для меня целый концерт? У меня такого не бывает, я

фонограмму не терплю и выступаю против даже на телевидении. Иногда удается добиться исполнения «вживую».

А еще появились совсем уж фальшивые записи, когда из динамиков звучит голос профессиональной оперной певицы, не желающей совсем уходить на эстраду, а у микрофона стоит сегодня одна, а завтра совсем другая исполнительница, вовремя открывающая рот. Это неуважение не только к зрителю, но и к самой себе, открывать рот под собственный голос неприятно, а под чужой противно.

Конечно, фонограммы на гастролях удобны, нет необходимости договариваться с оркестрами, везти музыкантов из города в город, организовывая их перемещение, проживание, оплачивая все это. Но я предпочту скорее выступать с одним пианистом, но не петь «под фанеру».

Так бывало, у меня никогда не было своего оркестра, в лучшем случае мои импресарио договаривались с какими-то безработными на тот момент музыкантами или с готовым хорошим оркестром, но везти целый оркестр на большие гастроли мне не по карману, потому таковые бывали только в больших городах, когда местный состав соглашался аккомпанировать Анне Герман.

Это тоже проблема, и немалая, с таким оркестром из-за его занятости не удается много репетировать, все урывками, а потому многое остается «за кадром», договоренным начерно, исправляется по ходу. Тогда вместо полной погруженности в исполнение приходится еще и следить за тем, чтобы не пропустить какую-то из договоренностей. Бывало, вступление играли не в той тональности, бывало, я сама все портила.

Возможно, зрители и не заметили или простили, но осадок у меня самой остался.

Это тоже гастроли, в них не главное бытовые условия, главное – условия исполнения.

Неудобную гостиницу, отсутствие нормальных удобств или короткие кровати в номерах можно пережить. В последние годы я останавливалась в лучших гостиницах по всему миру, но действительно администраторы частенько забывали, что при моем росте кровать часто мала в длину, а спать, чуть согнувшись, из-за травм не просто неудобно, но и больно. Обычно я просила поставить две кровати вплотную, чтобы ложиться чуть по диагонали, но если этого не было, просто подставляла стул. Плохо быть жирафом…

Можно пережить сквозняки на сцене, даже чье-то курение за кулисами, но отсутствие нормального аккомпанемента пережить

сложней.

В Советском Союзе мне удалось записать несколько песен с ансамблем «Лейся песня» Влада Добрынина. Ребята хорошие, и мы с ними «спелись», но их почему-то не пускали на телевидение.

Мне-то об этом никто ничего не сказал, я же иностранка. А тут песня «Белая черемуха» на слова Саши Жигарева с музыкой Влада Добрынина. Песня понравилась, появилось желание спеть в программе о новых песнях. Я предложила редактору Ольге Молчановой, та как-то странно смутилась, но отказать не решилась (я же иностранка!). Записали, все получилось прекрасно, хотя ребятам запретили делать хоть одно лишнее движение, кроме заученных. Я попыталась разрядить обстановку, отправившись гулять перед ансамблем во время исполнения, получилось только хуже, но песня понравилась и прошла. И даже на экран выпустили, а Влад Добрынин получил доступ на телевидение.

И во время гастролей часто исполняла эту песню со сцены, и на пластинку на «Мелодии» тоже записали, и у «Лейся песня» пластинки стали выходить.

Вот как я своей настойчивостью спасла для советской эстрады прекрасного автора, внесла свою лепту в ее развитие.

Гастроли по Советскому Союзу я любила, хотя вынуждена была уезжать надолго, оставляя своих Збышеков и очень по ним тоскуя. Больших денег эти гастроли не приносили, много выгодней лететь в Америку или даже просто ездить в составе какого-то сборного концерта по Европе. Но с душевным приемом на концертах в советских городах не сравнится ничто.

Я выходила на сцену в самых дальних городах, в Сибири, в Казахстане, в Ленинграде или Минске, да где угодно, и чувствовала, что попала к хорошим знакомым, пою для близких мне людей. Они готовы простить все, любую оплошность, любой промах, готовы аплодировать до мозолей на руках, откликаются на каждую музыкальную фразу, на каждое произнесенное слово, поют вместе со мной душой.

Но это же предъявляло самые серьезные требования. Если ко мне всей душой, то сплоховать, исполнить что-то вполсилы невозможно, это было бы нечестно.

Это главное требование гастролей в Советском Союзе – полная отдача, каждый концерт, как последний в жизни, невозможность сделать хоть что-то чуть слабее лучшего.

А у остальных не так?

В этом и заслуга советских зрителей, они с первого моего выступления, а такое состоялось еще до аварии, подняли планку

настолько, что если делать плохо, то под этой планкой проще пролезть, перепрыгнуть вполсилы не получится.

Я не хочу сказать, что зрители и слушатели в Польше, например, менее требовательны или душевны, ничуть, но с советскими людьми у меня сложились какие-то особые отношения. Чего мне не все простили в Польше.

Американцы доброжелательны, открыты, щедры на улыбки, приветственные выкрики во время выступления, активно просят автографы, но почему-то там на сцене я чувствовала себя скорее предметом для развлечения, чем стороной душевного разговора. К тому же на концерты в США, Канаде или Австралии приходили поляки, в те или иные годы покинувшие родину, или их потомки, которых меньше интересовало мое отношение к песне и даже сами песни, и куда больше «как там?», то есть как в Польше.

Особенно это стало заметно в последние годы. Но рассказывать со сцены о «Солидарности» и выступлениях рабочих вместо того, чтобы петь, мне хотелось меньше всего. Я не желаю вмешиваться в политику, для меня главная сила – любовь, о ней я пою, ею я живу. Любовь спасла меня после трагедии, поддерживает все эти годы, она нужна всем, и политикам в том числе.

Одна молоденькая наивная журналистка взахлеб радовалась:

– Вам так повезло, так повезло, вы на гастролях можете увидеть весь мир! Сегодня в Польше, завтра в Америке, послезавтра в Португалии…

Наивная девочка, на гастролях посмотреть мир не удается. Нет, в Америке мне вовсе не мешает популярность, ее там просто нет, американцы любят совсем другие песни, а поляков не так много, чтобы поклонники не давали прохода. И в Канаде тоже. И в той же Португалии…

Но гастроли – это жесткий график, в котором не предусмотрены потери времени вроде поездок по интересным местам, такого не допустит ни один импресарио. Города видишь из окна автомобиля или автобуса, по дорогам мчишься так быстро, как позволяют автомобильные заторы, из города в город перелетаешь или переезжаешь тоже как можно быстрей. Время – деньги! У организаторов эстрадных гастролей это закон жизни, потому что для репетиций нужно арендовать зал, а это дорого стоит, да и долго снимать гостиницу тоже не стоит, и содержать обслуживающий персонал – водителя, парикмахера, визажиста… денег стоит…

Я ни в коем случае их не осуждаю, ведь любые запланированные и незапланированные расходы ложатся тяжким бременем на доходы, и чтобы разница между ними была как

можно больше, позволяя заработать за время гастролей, эти расходы должны быть как можно меньше.

Если учесть, что я просто не в состоянии давать больше одного концерта в день, как делают многие, мои расходы вообще должны быть минимальны.

Так что мир я почти не видела. Кроме Италии, где бывала не только с гастролями, Советского Союза, где жила в детстве, и родной Польши, в которой живу. Да, еще ездила в Грецию отдыхать со своими Збышеками.

Но я не жалуюсь и, случись прожить вторую жизнь, наверное, пела бы такие же песни и ездила на такие же гастроли.

Мои два Збышека

Мне судьба подарила двух Збышеков – старшего и младшего.

Збигневы Тухольские – папа и сын. Они дружны, и они моя всегдашняя радость.

Збышеки, вы должны услышать то, что я вам о вас хочу сказать.

– Девушка, вы не пойдете плавать?

– Сейчас нет.

– Посмотрите, пожалуйста, за моими вещами, пока я окунусь?

Я только пожала плечами:

– Пожалуйста…

Что мне трудно, что ли? Вещи, правда, странные, не пляжные, словно человек после купания собрался уезжать, например, в командировку.

А парень симпатичный. Высокий, выше меня, крепкий, основательный какой-то.

Окунулся он быстро, поблагодарил, присел, отдыхая.

– Во Вроцлаве хорошая вода.

– Во Вроцлаве все хорошее, – нелепый ответ, но в ту минуту ничего умней в голову не пришло.

Он рассмеялся, чуть натянуто, ответить в том же духе означало бы завести разговор в ненужное русло, мы бы чувствовали неловкость, даже прервав его. Парень нашел выход:

– Что вы читаете?

Я не читала, а учила, вот-вот экзамены.

Знакомство все же состоялось, но поверхностное, ни к чему не обязывающее. Он инженер из Варшавы, во Вроцлаве в командировке, осталось время – решил искупаться. Не женат, живет один.

Я рассказала, что учусь на геолога, а еще участвую в труппе пана Скомпского, пою всякую всячину. Услышав веселый рассказ о том, каково это – за минуту превращаться в африканку, одновременно подвывая и посвистывая (мы так изображали вой ветра и шум морских волн, давая себе время переодеться), Збигнев заразительно смеялся.

Смех хороший – открытый и чуть смущенный одновременно. Почему-то подумалось, что он очень скромный человек и не любит выставлять свои проблемы на всеобщее обозрение.

Скромный человек, не любящий жаловаться, уехал в Варшаву. Конечно, мы тепло попрощались и даже обменялись адресами:

– Заходите, когда будете на гастролях в Варшаве.

– А вы к нам, когда приедете в командировку во Вроцлав.

– Договорились.

Вот и весь разговор. Ну, может, были еще фразы, но все закончилось, не начавшись. Фразу о гастролях в Варшаве можно бы считать насмешкой, куда нам до Варшавы, мы ездили по сельским клубам. Дома меня не бывает, да и сам Збигнев признался, что в командировки во Вроцлав ездит нечасто.

Значит, не судьба…

А жаль, парень понравился.

Дома я ничего говорить не стала, да и говорить было просто нечего. Выбросить симпатичного варшавского инженера из головы не получилось, но не ехать же в Варшаву, делая вид, что я на гастролях.

Так бы все и закончилось, но уже во время первых же гастролей по глубинке я увидела Збигнева Тухольского в зале. Даже замерла на мгновение, неужели мерещится? На следующий выход едва не опоздала – подглядывала из-за кулис в щелочку. Меня подогнали, пришлось отвлечься. Хорошо, что увидела Збышека в конце выступления, иначе наверняка что-нибудь сорвала бы.

Это был он – с цветами и своей смущенной улыбкой.

– Анечка, вы прекрасно поете. Я не специалист, не мне судить, но такой чистый голос должны оценить все…

Збышек не мастер делать комплименты, тем более витиеватые, а от смущения совсем замолк, но мне и не нужны были слова, уже одно то, что он как-то узнал, где мы будем выступать, и пришел на концерт, говорило о его интересе ко мне.

– Збигнев, а как вы узнали, где мы выступаем?

Некоторое время он не выдавал секрет, который оказался прост – звонил в дирекцию Вроцлавской эстрады.

Постепенно и его звонки, и его появление там, где выступала наша труппа (сначала Скомпского, потом Кшивки), стали настолько привычны, что при виде Збышека артисты говорили:

– Твой приехал.

Тухольского любила вся труппа, его невозможно не любить. Спокойный, всегда готовый прийти на помощь, причем сделать это без лишних слов. Збышек из тех, кто подставит плечо в самом трудном месте молча, не только не требуя за это благодарность, но и не объявляя вслух.

Рядом с ним вдруг выясняешь, что тебе давно помогают. Это самый хороший вид помощи – когда не только не требуют или не ждут благодарности за нее, но и вообще поступают так, словно все само собой разумелось. Такую помощь легко принимать, она

от сердца.

Сколько раз, когда бывало трудно и я плакала, Збышек гладил меня по голове, как маленькую девочку, и уговаривал потерпеть! Даже мама помогает иначе, она все готова сделать для меня, последнюю капельку крови отдать, последнюю минуточку жизни, но то мама…

– Ты должна петь.

Это единственное требование. Збышек единственный, кто понимал, что я не могу этого не делать.

И он помогал, как мог. Сначала при любой возможности приезжал по воскресеньям на своей уже не новенькой машине, требующей постоянного ремонта (хвала его профессии – инженер), туда, где мы выступали. В любую погоду, в любое время года.

Часто для того, чтобы добраться в ту глушь, где мы базировались, требовалась ночь с субботы на воскресенье, а потом ночь для возвращения обратно в Варшаву.

– Збышек, когда же ты спать будешь?!

– На работе отосплюсь.

И обязательно цветы…

Заработок и все свободное время уходили на меня.

Мы очень быстро привыкли к его присутствию по воскресеньям, Збигнев стал настоящим талисманом, пока он не появился утром в воскресенье, артисты не чувствовали себя спокойно. Я тем более, и потому что беспокоилась из-за дороги, и потому что соскучилась.

Нет, это не привычка. Иногда я думаю, какой тогда до катастрофы была наша любовь? Какая она вообще?

У нас не было взрывов страсти, мы оба вовсе не итальянского склада.

В связи с этим интересное воспоминание.

Во время еще первого пребывания в Риме наблюдала со стороны семейную жизнь соседней пары. Не совсем соседей, но их громкие выяснения отношений были слышны по утрам или вечерам почти ежедневно.

Услышав крики впервые, мы испугались, не случилось ли чего. Хозяйка нашей квартиры махнула рукой:

– Нет, это Мария со своим Адриано прощаются.

Мне казалось, что прощались навсегда, во всяком случае, после таких воплей женщины мужчина определенно должен уйти и больше не появляться. В бурном потоке жестких определений и проклятий я разобрала только «кретино» и «провались в ад». Адриано не провалился, вечером он вернулся как ни в чем не

бывало и был встречен не менее громко, но теперь уже радостно. Честно говоря, я не всегда понимала, прощаются они или встречаются, ссорятся или мирятся, все проходило с таким шумом и воплями, что только по тому, захлопывалась ли за синьором Адриано дверь, и он удалялся по улице, посылая ответные проклятия назад, или вопли раздавались уже из-за закрывшейся с грохотом двери, можно было разобрать встреча это или расставание.

Там в Риме я пыталась представить себя на месте синьоры Марии и понимала, что брака с итальянцем не выдержу. Конечно, не все итальянцы таковы, не все кричат, но шумят все. Разговор супругов на повышенных тонах вовсе не означает ссору, просто они очень эмоционально выражают свои чувства.

Например, удавшийся суп может вызвать такие крики, что покажется: расстаются. А окажется: он просто в восторге от точной дозировки пряностей в соусе к спагетти.

Нет, Збышек все делал тихо и молча, а если уж говорил…

Збышек, Збышек… я настолько привыкла к его постоянному присутствию и поддержке, что не представляла, как вообще можно без них прожить.

Странный это был роман – встречи в гостиницах, постоянный недосып, усталость и счастье от того, что он рядом, что есть плечо, на которое можно опереться, протянутая рука, готовая предложить любую помощь.

Збышек помогал чинить автобус нашему водителю, настраивать вечно капризничавшую аппаратуру, что-то налаживать перед концертом, он стал настоящим участником нашей бедовой труппы.

А потому лучше всех понимал сложности моей кочевой жизни. Лучше мамы и бабушки, ведь они только слышали мои бодрые рассказы о выступлениях, юмористические повествования о сломавшемся стареньком драндулете, который только по недоразумению называли автобусом, о постоянных переездах и прочем.

Збышек был знаком с другим бытом – невозможностью нормально питаться, тараканами в захудалых гостиницах, сквозняками на сцене и за кулисами, вечно ломающимся транспортом, отсутствием нормальных условий для жизни.

Но он видел, что я счастлива от самого выхода на сцену, счастлива, когда могу петь, счастлива, невзирая на усталость и кочевую неустроенность. И Збышек поддерживал меня. Просто прижимал к себе и гладил по волосам, позволяя выплакаться всласть. Женщине иногда нужно просто дать выплакаться, это

даже лучше букета цветов, хотя цветы тоже были всегда.

Збышек, мой Збышек – вот кто лучше всех понимал, что именно мне нужно. Главное – мне нужно петь.

– Збышек, зачем я тебе такая?

Он в ответ смотрит спокойно:

– Какая?

В Италии уже начался бы скандал, со Збышеком он просто невозможен.

Как объяснить, какая именно? Я пытаюсь:

– Неустроенная.

– Неустроенная не ты, а твой быт. Устроим.

Я не сдаюсь:

– Но ты так устаешь…

– Ты еще сильней. К тому же я мужчина, должен брать на себя самое тяжелое.

– Я устаю по своей воле.

– А я не по своей?

Это смешно, потому что его действительно никто не заставлял мотаться в единственный выходной по всей Польше, чтобы погладить по голове ревущую дылду, мечтающую стать настоящей певицей.

– Анечка, ты должна петь. Тебе Богом дан голос, который нельзя не дарить людям.

Если бы он знал, насколько эти слова совпадали с моими желаниями!

Вернее, Збышек знал и делал все, чтобы я не отступила от своей мечты, не бросила самое нужное мне самой занятие.

Иногда я думаю, смогла бы выдержать все неурядицы, трудности цыганского быта провинциальной артистки эстрады без помощи Збышека, и понимаю, что еще неизвестно, что было бы, не гладь он меня еженедельно по голове.

Збышек официально числился в моих женихах. Бабушка осторожно интересовалась, как долго это будет продолжаться, ведь мне много лет. Она права, мне исполнилось тридцать, а о свадьбе мы не говорили. У меня было любимое пение и любимый надежный Збышек. Что дальше? Если честно, то я, как страус, прятала голову в песок, втайне надеясь, что что-то изменится само собой.

А потом была трагедия, и в Болонью вместе с мамой прилетел Збышек. Взял отпуск за свой счет, деньги у друзей в долг и примчался спасать развалину, с трудом собранную из частей. Вернее, тогда еще не собранную.

Гипс от ушей до пяток, невозможность не просто что-то делать самой, но и частичная потеря памяти, боль и отчаянье… Однажды я не выдержала:

– Збышек, зачем я тебе такая?

– Анечка, ты уже задавала этот вопрос.

– Нет, тогда я была хотя бы здорова. Неустроенна, но здорова. А сейчас я колода в гипсе и неизвестно, что дальше.

– А дальше нужно сделать все, чтобы из этого гипса выбраться и вернуться к нормальной жизни. Только врачи правы – не торопи события.

– Збышек, неизвестно, сколько я буду вот так лежать и смогу ли вернуться к прежней жизни.

Я не успела спросить еще раз «зачем я тебе?», он просто взял мою здоровую руку в свою, а пальцы легко коснулись волос на голове:

– Анечка, ты сумеешь победить болезнь, нужно только быть мужественной. Я помогу.

– Ты не обязан.

– А разве все нужно делать только по обязанности?

Вот и все, дальше и дольше обсуждать нечего. Я рядом, я помогу, а ты постарайся, и все получится.

Для себя я решила, что сделаю все, вытерплю любую боль и любые мучения, чтобы встать на ноги, а потом…. Потом поблагодарю Збышека и отпущу, как бы мне самой ни было тяжело это делать. Он вовсе не обязан жить рядом с развалиной, которой я стану, даже избавившись от гипса.

Боже мой, сколько же проблем и трудностей я создала маме и Збышеку! Но мама родной человек, который никогда не оставит свою дочь в беде, а Збышек?.. Что держало его не просто рядом, но заставляло активно помогать, причем делать это неброско, никому не приходило в голову замечать помощь Збышека.

Полтора года больничных палат, полтора года запаха лекарств, белых халатов и боли, постоянной, временами невыносимой… Но даже боль была не самым страшным, куда страшней неопределенность, пока не снят гипс, никто не мог сказать, удалось ли собрать позвоночник, смогу ли я двигаться, не останусь ли навсегда лежачей сломанной куклой.

А если так, что тогда? Тогда Збышека просто прогоню, наговорю гадостей, скажу, что он мне надоел, что я… например, влюбилась в кого-то из врачей! Да, скажу, что люблю другого, это просто вынудит Збышека уйти.

Если честно, я попыталась сделать даже такую глупость. Левая рука не двигалась, нога тоже, они не желали подчиняться и грозили навсегда остаться мертвыми. От боли слезы из глаз

градом, но толка никакого. Казалось, это навсегда…

И вот тогда я решилась:

– Збышек, оставь меня. Я буду жить своей жизнью, а ты живи своей…

Неизвестно каких бы еще глупостей я наговорила, но замолчала под его взглядом.

– Хорошо, Аня, но только сначала встань на ноги. Когда справишься, поговорим.

Я плакала, в тот день я долго и горько плакала, но так, чтобы Збышек этого не видел.

Никогда не рассказывала ему об этом. Почему-то было очень обидно и горько. Странно, чего я ждала, попросив Збышека оставить меня и жить своей жизнью? Что было бы, согласись он с таким моим предложением прямо сейчас? Если бы он ушел, я не сумела бы встать на ноги.

Збышек не ушел, но он… согласился сделать это, когда я встану? До чего же это было горько! Неужели он рядом, только потому что я изуродована?!

Как он почувствовал мое настроение, не знаю, наверное, подсказало сердце.

– Анечка, я не заставляю тебя быть со мной, ты вольна выбирать. Но прими помощь, которую я могу дать. Просто прими, не считая себя чем-то обязанной.

И снова я рыдала, теперь уже от счастья. Отняв у меня возможность жить нормальной жизнью, судьба щедро компенсировала потерю тем, что Збышек рядом.

– Пожалуйста, не смотри, когда меня перевязывают. Пожалуйста, не смотри на меня по утрам, пока мама не приведет меня в порядок. Я страшная…

– А зачем ты мне нужна приукрашенная? Я люблю тебя такой, какая ты есть.

– Збышек, я стесняюсь…

– Представь, что я доктор. Или санитар.

– Я и врачей стесняюсь, и санитаров тоже. Знаешь, каково это – подставлять свое изуродованное тело под взгляды чужих?

– Тогда представь себе, что это не ты, это сломанная кукла, которую ты должна своей волей поднять.

Господи, какое счастье, что рядом со мной в такие трудные дни оказались заботливая мама, умница Збышек и множество понимающих и желающих мне выздоровления людей!

Разве я могла бы справиться сама, без их помощи и поддержки.

– Анечка, тебе снова масса телеграмм и писем поддержки.

А потом переезд из больницы в квартиру. Неужели, чтобы получить хотя бы временное жилье, нужно было переломать все, что только возможно в автокатастрофе, и получить европейскую известность? Тогда лучше ютиться на съемных квартирках.

На этой выделенной «героине борьбы с переломами» квартире лекарствами пахло уже только моими собственными. Но тело все равно не слушалось, несмотря на долгие часы занятий. Збышек тогда превратил комнату в подобие гимнастического зала лечебной физкультуры. Всюду приспособления для гимнастики, поручни… И телевизор.

– Хватит валяться без дела, пиши книгу и смотри новости.

Первое время от телепрограмм только слезы на глазах – Анну Герман забыли, в эфире моих записей не было.

Збышек спокойно жмет плечами:

– Анечка, невозможно же годами крутить твою «Эвридику»? Встанешь, запишешь новые, тогда и покажут.

А потом он притащил пианино, конечно, не купил, на это не было денег, мы обросли долгами, просто взял напрокат. И поставил во второй комнате как приманку:

– Научишься ходить, сможешь для начала играть дома.

Я смогла, но видно перестаралась в своей попытке «стать как все», позвоночник не выдержал нагрузок, последовали недели неподвижности, пусть без гипса, но все же неподвижности.

Отчаянье просто захлестывало… Мама поддерживала, как могла. А Збышек?

– Анечка, врачи все время твердили, что в твоем случае торопиться нельзя, только навредишь. Придется потерпеть. Лежи, пиши книгу, придет твое время вставать.

– Я хочу петь! Збышек, это не жизнь – лежа бревном.

– Пиши книгу, пиши музыку.

– Как?!

Книгу я еще могла писать хотя бы по чуть-чуть, правая рука действовала, а музыку?

На следующий день рядом со мной стоял магнитофон.

– Анечка, напой родившуюся в голове мелодию, потом обработаешь.

– Збышек!

Такое мог придумать только он – технарь с душой лирика.

И вдруг…

Я уже ходила, пусть держась за поручни и натянутые по всей квартире веревки, но сама.

Мама уехала во Вроцлав, потому что серьезно больна

бабушка. Привозить второго инвалида в крошечную квартирку просто некуда, мамочке приходилось разрываться на двоих, потому как только я стала вставать, чтобы хоть в туалет сходить самостоятельно, она спешила к бабушке, тоже сидевшей в инвалидном кресле.

Збышек чем-то доволен, премию получил, не иначе. В руках букет…

– Чему ты так радуешься?

– Я женюсь.

Вот и все, мир рухнул еще раз, свет померк. Каким-то чудом я осталась на ногах и даже сумела выдавить подобие улыбки.

А чего я ждала? Сама же твердила, что как только встану на ноги, так отпущу его на все четыре стороны, что он свободен, как птица, хватит молодому, красивому мужчине возиться с развалиной. Он соглашался решить вопрос, как только я буду на ногах.

Я удержалась на них, правда, с помощью все тех же веревок.

– Поздравляю. На ком?

Конечно, хорошо бы еще добавить, что мы останемся друзьями, хотя это его ни к чему не обязывает, что я безмерно благодарна за помощь и когда-нибудь обязательно отблагодарю… Я не успела сказать все эти глупости, потому что услышала в ответ:

– Как на ком? На тебе. Ты просто не имеешь морального права отказать мне в своей руке. Ты обещала все решить, когда встанешь на ноги.

Вот теперь меня пришлось поддерживать…

– Збы-ышек…

– Ну что за плакса! Я думал, ты уже вылила все слезы.

Он снова гладил меня по голове, касаясь осторожно-осторожно, потому что я все еще сломанная кукла, хрупкая статуэтка, у которой кости на гвоздях и на теле нет живого места от ран и шрамов.

Спрашивать, зачем я ему такая, глупо…

А свадьба у нас была скромная. Просто расписались во время отдыха в Закопане после двенадцати лет знакомства. Ни к чему торжественные речи, звон бокалов, пышное торжество. Збышек доказал свою любовь, столько лет помогая мне, хотя ничего не доказывал. Он просто был рядом, был плечом, на которое я могла опереться, протянутой рукой, рядом, несмотря ни на что. Збышек ничего не требовал взамен ни тогда, ни сейчас. Мне плохо и тяжело, и он снова рядом, всегда рядом.

После аварии прошло много лет, собранные заново кости

срослись, хотя здоровой в обычном смысле этого слова я не стала. И, наверное, только врачи и Збышек понимали, каково мне, как достается и по сей день каждое движение.

Маму я старалась не расстраивать, она помогала мне, когда я ничего не могла сама, но она тоже имеет право на нормальную жизнь, потому вечно держать при себе нельзя. К тому же больна бабушка, мама вернулась во Вроцлав, где на деньги, которые (наконец-то!) прислали итальянцы, я исполнила свою мечту – купила им с бабушкой квартиру. Достойную, впервые собственную, хотя и заработанную таким трудом.

Мы со Збышеком мечтали о своем доме, пусть маленьком, но таком, чтобы и у меня, и у него была возможность работать. Збышек многие расчеты проводил дома, я понимала, как это трудно – что-то рассчитывать, когда рядом кто-то распевается или репетирует.

Когда нашелся домик и потребовалось купить квартиры каждому из жильцов, они запросили так много, что мы пришли в отчаянье.

– Анечка, может, поищем другой?

Нет уж, теперь моя очередь!

– Я заработаю, Збышек, нужно только побольше гастролировать.

– Но это трудно для тебя.

– В жизни все трудно, а для меня тем более.

– Но я не смогу ни ездить с тобой, ни приезжать в выходной.

Да уж, этого он не мог, я гастролировала за пределами Польши.

– Ничего, есть же телефон.

– Который ты не любишь.

– Збышек, вот купим дом, и я успокоюсь. Снаряд дважды в одно место не падает, теперь все гастроли должны быть удачными.

Они были удачными, и дом мы купили. Переезжали легко, вернее, для меня легко. Збышек просто отправил нас погулять к друзьям, а вернулись мы в новый дом.

Збышек… он всегда такой. Мама радовалась:

– Умру спокойно, потому что знаю: ты за ним как за каменной стеной.

За каменной стеной – так говорят в Советском Союзе. Правильно, со Збигневом рядом спокойно и надежно, только стена эта особая – она не прячет меня от мира, не заслоняет, лишь ограждает, в чем может, от неприятностей, от сложностей, от трудностей, защищает. Иногда даже от самой себя.

Збышек не во всем может меня оградить. Бабушка права,

главное, чем наградил меня Бог – голос и Збигнев, без него я не только не встала бы на ноги, но и просто не состоялась. Без Збигнева Тухольского не было бы Анны Герман, я могла сдаться еще тогда, во время бесконечных поездок по городам и весям Польши с труппой Скомпского.

Просто вышла бы замуж за кого-то другого, и закончилась моя актерская карьера. Пела бы дома во время застолий и вспоминала холодный автобус в сугробах и сквозняки на сцене. Збышек поддержал, не позволил облегчить себе жизнь, не позволил отступить.

Конечно, певицей я стала сама, и на ноги встала тоже сама, Збышек не мог этого сделать за меня. Но он не позволил не стать певицей и остаться лежать бревном тоже не позволил. Это так важно, когда тебе не просто протягивают руку помощи, не просто поддерживают под локоть, чтобы не оступилась, не просто подставляют плечо для того, чтобы оперлась, а не позволяют остаться на месте, отступить, спасовать. Иногда такое важней самой поддержки.

Как бы ни была велика заслуга моей мамочки и врачей, вложивших в мое восстановление безумно много сил и времени, роль у Збышека особая. Он поддерживал и подталкивал, все время вел себя так, словно иначе и быть не может, словно я не имею права остаться инвалидом или бросить петь.

Как за такое можно отблагодарить? Любовью. Но любовью не благодарят, я его просто люблю, как свое второе «я», свою половину. Все лучшее во мне от бабушки и от Збышека.

И сейчас, на краю, я не боюсь оставить на него Збышека-маленького, знаю, старший справится, он воспитает сына таким, каким мы бы воспитали его вместе.

Збышека-младшего судьба подарила нам не скоро и скоро одновременно – через три года после свадьбы и когда мне шел сороковой год.

Все твердили:

– Ты с ума сошла! В твоем состоянии в тридцать девять лет рожать?!

А я решила, что буду рожать, чего бы это ни стоило. Сейчас хорошая медицина, если уж собрали из кусков, то родить ребенка помогут. Семья становится семьей, только когда в ней появляются дети.

Збышек радость для нас с первой минуты.

Но он, в отличие от папы, не любит, когда я пою. Может, наслушался еще до своего рождения, потому что, будучи беременной, я продолжала гастролировать (а как же иначе?).

Мало того, в год его рождения у меня состоялись большие гастроли в Советском Союзе, концерты в Москве, Ленинграде, Минске, ездила по Волге, записывала новые песни, снималась на телевидении. Потом ездила с концертами по Польше, участвовала в фестивале в Зеленой Гуре.

А потом уже осенью меня отправили на гастроли в США, не поинтересовавшись, могу ли. Не лететь невозможно, лететь опасно.

– Вот рожу американца…

Нет, не родила, успела до рождения Збышека-маленького вернуться в Варшаву. Он родился 27 ноября 1975 года и вовсе не был маленьким. Збышек богатырь, рослый для своего возраста мальчик, очень красивый, похож на папу…

Это наше счастье, ребенок, который позволил мне не только спать ночами, но и уехать на гастроли уже в следующем году.

Женщина без ребенка ничто, если нет возможности родить самой, нужно усыновлять, удочерять малышей, потому что готовить супчики, пеленать, ухаживать за малышом самое большое счастье на свете. Видеть, как он впервые осознанно улыбнулся, протянул к тебе ручонки, слушать, как он гулит, петь колыбельную…

Кстати, колыбельные Збышек не любил, когда научился говорить, то требовал:

– Лучше спой про паровоз.

Паровозы и всякую технику любит больше всего, из каждой поездки я норовила привезти ему что-то техническое игрушечное – машину, паровозик, танк… Весь в папу.

И первое слово у Збышека-маленького было не «мама», а «папа». Предпочтение налицо.

Когда я на гастролях, Збигневу помогает моя мама или наша няня. Она очень хорошая, но у всех своя жизнь, потому и няня собралась замуж… Моим мужчинам придется привыкать жить самостоятельно.

Я понимаю, что осталось недолго, и пытаюсь решить для себя вопрос: должен ли Збигнев жениться?

Это очень трудный вопрос, но так же, как когда-то я свыклась с мыслью, что должна отпустить Збышека, потому что не имею права держать его подле своего неподвижного тела, даже не отпустить, а прогнать, если не уйдет сам, так теперь должна смириться с тем, что подле него будет другая.

Не только подле него, но и подле Збышека-младшего. Ребенку нужна мать, и если Збигнев найдет хорошую замену сломанной кукле, замену, которая сумеет стать, прежде всего, мамой Збышеку, то пусть женится, я мысленно благословляю.

Очень трудное решение, пришла я к нему не сразу, потому что даже мысленно допустить на свое место рядом с моими любимыми Збышеками кого-то другого тяжело. Это сродни перерождению, когда их интересы, чувства, их потребности должны встать выше моих.

Я сумела, не просто смирилась, этого было бы мало, я осознала необходимость такого поступка для Збигнева после моего ухода из этого мира. Збигневу до последнего дня говорить ничего не буду, но потом возьму слово, что он не будет рыдать над моей могилой в ущерб себе и Збышеку.

Господи, как тяжело!

Неужели нужно было столько вынести, родить ребенка на сороковом году жизни, чтобы оставить его сиротой в шесть лет? Это моя вина перед Збышеком-младшим. Нужно было не в фестивалях участвовать, не по гастролям разъезжать и тем более не ехать в Италию за длинным грошем, а родить его еще тогда, в 1967 году! Все равно поздно, но тогда не было бы аварии и ее нынешних последствий.

Вот он выбор – карьера или семья. У некоторых получается, мне не удалось. Я очень люблю моих Збышеков, но старшему уже создала столько проблем, а младшего оставляю сиротой.

Простят ли они меня?

Нет, я не рву на себе волосы и не посыпаю голову пеплом (рвать после кобальтовых лучей почти нечего, а пепел уже весь высыпан), я жила так, как могла, боролась с болезнью и пела. Вот главное – я пела. Не для себя, не во время застолья, пела для людей. Пела потому, что не могла не петь, это моя судьба, которую изменить нельзя. С того, кому много дано, много и спросится. Мне дан голос, я должна петь.

А то, что не умела требовать за это большие деньги, так не всем дано быть богатыми, да и не всем нужно.

Збигнев понял это давно и все время помогал, не считая нашу не всегда обеспеченную и налаженную жизнь неправильной. Збышек-младший, надеюсь, поймет, когда повзрослеет. Я не дала ему то, что могла бы дать, работая, например, портнихой – ежедневное внимание, уезжала на гастроли, часто надолго, уходила на концерты или запись, когда ему очень хотелось просто поиграть, не так много проводила с сынишкой времени, как хотелось бы и мне, и ему.

И сверх популярной в Польше тоже не стала.

Правильно ли поступала, пытаясь совместить карьеру и семью?

Правильно ли выбирала песни?

Правильно ли пела?

Сможет ли Збышек мной гордиться или хотя бы не осуждать, когда вырастет?

Я вот что могу сказать в ответ:

я жила, как умела, по-другому не получилось бы;

пела, как чувствовала сердцем, пела о любви, потому что к этому лежала моя душа, потому что, получив на два часа власть над зрительным залом во время концерта, предпочитала рассказывать им о самом лучшем, самом светлом, самом хорошем, о плохом пусть расскажут другие;

не была просто модной, потому что есть нечто выше этой моды, шлягеры не всегда стоят того, чтобы ради их минутного успеха изменять себе;

пела песни, созданные в Советском Союзе не потому, что там лучше платили или чаще выпускали пластинки (и то и другое денег не приносило), а потому, что эти песни ложились на душу, они говорили теми же словами, которые рождались в моей душе.

Я могу еще долго оправдываться, но знаю, что сын поймет и без оправданий.

Поймет, потому что воспитывать Збышека будет Збигнев, моя половина, с которым мы едины в помыслах и устремлениях души.

Для Збышека я сочинила сказку о скворушке, попытавшись собрать в ней все, что хотела бы сказать, но не в виде наставлений по пунктам, а иносказательно. Если честно, получилось несколько по-взрослому и слегка занудно, но исправлять уже некогда. Ничего, подрастет, все поймет. А не поймет, папа Збышек поможет.

Мои московские друзья

Ню только московские, но и все, кто знает и любит мои песни в СССР.

Москва – это прежде всего Аня Качалина. Аня, Анечка, мой не просто добрый ангел, не просто друг, а сестра, которой у меня никогда не было. Родная по духу, заботливая, с которой отдыхаешь душой даже на расстоянии. Читаешь ли ее письмо, пишешь ли свое ей – всегда чувствуешь поддержку.

Аня Качалина редактор звукозаписывающей фирмы «Мелодия» – главного поставщика грампластинок на рынок Советского Союза. Мы познакомились в мой первый приезд в Москву.

Москвичи принимали как-то особенно тепло, так, словно мы мировые звезды первой величины. Но остальные участники сборной поездки и впрямь были опытными и привыкшими к аплодисментам, а я только-только начала осваиваться на большой сцене, ведь не сравнить сцены сельских клубов со столичными московскими площадками.

Свой первый концерт в Москве я помню прекрасно.

Зрителей много, зал полон, казалось, люди истосковались по песням, хотя я прекрасно знала, что в Советском Союзе много талантливых исполнителей и прекрасных песен. Артисты пытались общаться с публикой «по-русски», коверкали русские слова, вызывая одобрительный смех. Зрители прощали все: ошибки, акцент, лишь бы хорошо пел.

Меня поставили в самом начале второго отделения, позже я поняла, как расставляют артистов в программе: в самом начале можно выпустить на сцену тех, кто только пытается завоевать публику, возможно, будут опоздавшие, кто-то будет искать свое место, публика еще не готова внимать, затаив дыхание. К концу отделения выходят маститые исполнители, те, кого наверняка долго будут держать аплодисментами, у таких должна быть готова партитура запасных, «бисовых» песен.

Открывать второе отделение значило уже чего-то добиться.

У меня буквально зубы стучали от страха, хотя я храбро улыбалась, стараясь сделать вид, что не боюсь и мне не привыкать смело смотреть в полный большой зал. Зрители доброжелательны, песни восприняли хорошо, щедро дарили аплодисменты… Я могла бы говорить с ними по-русски, ничего не коверкая, но… не рискнула.

Хороший прием, коллеги за сценой одобрительно кивали:

– Молодец, Аня, справилась.

Второй песней была «Эвридика». Я уже не боялась, видя, что все равно не освищут, слушают внимательно, так, словно они меня давно знают. Пела с удовольствием…

Зал взорвался овацией, на сцену полетели букеты, раздались крики «Браво!» и «Бис!».

– Пани Аня, пойте еще, – посоветовал Ежи Мильян, который дирижировал оркестром.

Вот теперь я растерялась:

– А что?

У меня песен «на бис» заготовлено не было.

– Эвридику…

Я исполнила песню трижды, потом еще спела без сопровождения неаполитанскую песенку. У меня перехватывало горло, но уже не от волнения, а от благодарности, от восторга, от полноты чувств.

– Пани Анна, успех полный! Вы молодец! – Меня поздравляли и советовали запастись песнями для повторений.

Это «молодец!» скандировали и те, кто провожал нас до автобуса. В гостинице я рыдала, уткнувшись лицом в подушку и совершенно не думая, что останутся следы слез. Москва приняла меня, приняла радушно. Советские зрители оказались доброжелательными настолько, что не почувствовать уверенность было просто невозможно.

На следующий день второй концерт, который прошел с тем же, если не большим успехом. Я уже рискнула что-то говорить со сцены по-русски, чем вызвала новую бурю восторга. В тот вечер нас записывали для радиопередачи и потом долго общались за кулисами, расспрашивая о нас самих.

Я помнила мамины наставления: ничего не говорить о папе, кроме того, что он родился в Лодзи, избегать любых рассказов о родственниках в СССР (мало ли что, вдруг им это выйдет боком), вообще, лучше ничего не говорить о нашей жизни в Советском Союзе.

Но меня больше расспрашивали о творческих планах, о песне, о том, кто пишет мне тексты, а кто мелодии, о пластинке – скоро ли выйдет, как будет называться, какие песни туда войдут… Я только качала головой:

– Пластинка?.. Нет, пока не планируется… когда, не знаю…

Меня как-то сразу стали называть Анечкой, хотя вовсе не была вчерашней школьницей, мне шел двадцать девятый год.

С Аней Качалиной мы познакомились после второго концерта, она внимательно слушала и то, как я пела, и то, как потом рассказывала о себе, страшно смущаясь от такого

внимания со всех сторон. Аня, конечно, ниже меня ростом, но все равно высокая, стройная и деловитая. А глаза при этом светились добротой. Вот это умение быть собранной, деловитой, прекрасным организатором и одновременно очень мягким и заботливым человеком меня восхищало. С Аней Качалиной я в Москве как за каменной стеной. Когда, вернувшись домой, я стала рассказывать о ней, мама сразу поняла:

– Ты нашла настоящую подругу? Это хорошо, она позаботится о тебе в Москве.

Анечка заботилась, еще как заботилась! Они с ее мамой Людмилой Ивановной опекали меня в Москве, как бедную сиротку – подкармливали, добывали какие-то лекарства, водили по врачам, приносили в гостиницы горяченькую картошечку, пирожки с капустой и селедочку с огурчиком… м-м-м… И сейчас слюнки текут при одном воспоминании. Я не просто отдыхала у них в квартирке на Герцена, где стояла мебель еще Аниной прабабушки, было уютно и тепло, я забывала все свои печали, боль, обиды, несправедливость судьбы, отогревалась душой. Родной дом и вот эта квартира Качалиных – самые дорогие места в мире.

Анечка обещала проводить меня в последний путь и не забыть о двух Збышеках и маме. Я знаю, что проводит и не забудет…

А тогда она предложила нескольким певцам записать свои песни на пластинку, сделав сборник песен друзей.

А мне предложила сделать свой миньон с четырьмя песнями!

– Пластинку?! У меня нет на нее денег…

Я знала, что для того, чтобы записать пластинку, нужно нанять оркестр, договориться со студией, заплатить звукорежиссеру, заказать подходящую для записи оркестровку песен, потому что эстрада и запись в студии не одно и то же. Это стоило безумно дорого, а все мои концертные заработки съедала жизнь и необходимость шить новые платья (пусть даже самой), обувь на заказ (из-за большого размера ноги). Обидно, конечно, сознаваться в этом такой симпатичной женщине, но лучше объяснить свою несостоятельность сразу, чем подвести человека или влезть в немыслимые долги.

– Денег?

– Ну, на оркестр, оплату студии…

– Нет, студия оплатит все сама, вам останется только петь. Правда, гонорары у нас совсем небольшие, должна сознаться в этом сразу.

Гонорары?! Да я готова петь и бесплатно, лишь бы петь,

записываться, а уж в Москве и собственную пластинку? Мне казалось грешно ждать за это гонорар, пусть и самый маленький.

Аня действительно организовала запись моих песен, пока всего четырех, но это была моя первая пластинка! Вышла она чуть позже, чем пластинка в Польше в фирме «Польске награння», потому что работу пришлось прервать из-за решения министерства отправить меня в Сопот еще раз.

Работа и работа, тогда я еще не умела записывать с первого дубля, требовалось несколько попыток, а еще много репетиций, чтобы все согласовать, чтобы звучало как можно лучше. А в свободные минуты бесконечные беседы обо всем на свете в квартире на улице Герцена (кажется, я могу найти эту квартиру с завязанными глазами), запах пирогов и доброта, окутывавшая, словно теплым облаком.

Это Аня предложила мне петь песни советских композиторов:

– Поверь, это твое.

Мы быстро перешли на «ты». А друзья и знакомые стали звать нашу пару «Аня светленькая и Аня темненькая».

Мой московский ангел познакомила меня со столькими интереснейшими людьми в Советском Союзе, что всех и не перечислишь. Прежде всего, конечно, с теми, кто создает песни. Она разыскивала интересные мелодии и присылала мне клавиры, даже сейчас, прекрасно понимая, что я не буду петь, что судьба больше не даст мне даже один шанс из тысячи вернуться, Анечка все равно шлет ноты. Это не бестактность, она изумительно тактична и доброжелательна, просто Анечка понимает, что единственное, что может отвлечь меня от боли – мои родные и музыка. Пока я жива, я должна петь, даже шепотом, даже только мысленно.

Качалина прислала мне клавир «Надежды» как раз тогда, когда эта самая надежда была мне нужней всего. Гипс, невозможность нормально вдохнуть, неподвижность, у левой руки не шевелятся даже пальцы, из еды несколько ложек молока… а Аня Качалина находит для меня песню о том, что надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы…

В тексте песни тот самый смысл, без которого для меня песня не песня. О мелодии и говорить не нужно, у Александры Николаевны Пахмутовой все песни великолепны.

Аня на расстоянии почувствовала именно то, что мне нужно. Надежда мне нужна, надежда, что я справлюсь с переломанным, непослушным телом, что правильно срастутся кости, что вернется подвижность к суставам, смогут снова работать мышцы. Никто не

гарантировал, что даже правильно собранная из кусков, скрепленная и загипсованная, я после освобождения из гипсового плена смогу двигаться не как робот или кукла, а как живой человек.

Меня предупреждали, почти пугали предстоящими неимоверными усилиями, которые нужно приложить, чтобы стала подчиняться левая рука, чтобы можно было не просто сесть на кровати, а встать, сделать первый и последующие шаги, чтобы стали послушными мышцы. Сросшиеся кости – это не все, нужно восстановить способность двигаться.

И вот когда у меня почти не осталось сил бороться за свою уже не жизнь, а возможность двигаться, Анечка прислала мне «Надежду». Разве можно сделать более душевный и своевременный подарок? Она на огромном расстоянии почувствовала, что именно мне нужно.

Стоило мне приехать в Москву, как Качалины принимались опекать меня вдвоем. Мама Анечки Людмила Ивановна немедленно засучивала рукава и брала в руки скалку, чтобы раскатать тесто и напечь вкуснейших пирожков с капустой. А еще у нее как-то особенно получалась картошечка во всех видах, что отварная с лучком и селедочкой, что жареная.

Я не избалована едой, дома не приучена к большому количеству разносолов не потому, что бабушка или мама чего-то не умели, а потому что на разносолы не было денег. Но даже картошечка у Людмилы Ивановны выходила не так, как у всех.

Анечка приносила мне эти яства даже в гостиницу, просто потому, что идти в ресторан я не могла. Всем говорила, что не люблю, когда на меня глазеют во время еды, мол, меня смущает популярность. Конечно, мне вслед оборачивались, но подозреваю, что не в последнюю очередь из-за моего роста, не из-за сверхпопулярности.

В действительности же на рестораны просто не было денег. Что в Польше, что в СССР концерты и звукозапись оплачиваются крайне скудно, это ни для кого не секрет, на суточные за пару дней можно было купить игрушку Збышеку, что я и делала, оставаясь без средств.

Качалина ни о чем не спрашивала, она, видно, и сама знала о финансовом положении своих подопечных, а таковых у нее было много, причем талантливых. Да, это Анечка Качалина вывела в свет многих советских знаменитостей, например, Муслима Магомаева, Софию Ротару, Аллу Пугачеву… Записаться на фирме «Мелодия» значило стать почти популярным. А там среди эстрадников царила Анечка Качалина, добрый гений советской

эстрады и мой тоже.

И к романсу меня привела Анечка, Анна Качалина, мой добрый ангел в мире эстрады.

– Ты должна попробовать петь русские романсы.

И это в то время, когда я отчаянно искала современные песни, вернее, песни, которые позволили бы быть современной, выступать наравне с теми, кто популярен, кто «идет в ногу» со временем. Очень хотелось и мне идти в ногу, не отставать, хотя в глубине души прекрасно понимала, что никогда не буду петь так, как Марыля Родович.

Мне очень нравятся ее «Разноцветные ярмарки», зажигательная, заводная песня, но если бы ее взялась исполнять я сама, вышло бы как-то… не по-ярмарочному.

Песен, подобных «Танцующим Эвридикам», не было, хоть плачь. Я была готова, как и с «Эвридиками», пробивать путь песне сама, исполнять вопреки мнению чиновников от эстрады, но исполнять нечего, все, что предлагалось, никак не обещало стать шлягером. Катажина работала с Марылей Родович и ничего писать для меня не собиралась, ей больше нравился рок, фолк и тому подобное. Я не против рока, мне нравится самобытная Марыля, ее заводные песни (кроме тех, которые она поет с принудительной хрипотцой ради моды, а ведь у Родович прекрасный сильный голос), но это не мое. Даже если бы я переступила через себя (какое счастье, что я этого не сделала!), вряд ли получилось бы достойно. Просто каждый должен петь свое – Родович рок, а я… да, Качалина оказалась права, я запела русские романсы.

Это было сродни попытке петь Скарлатти.

Русские романсы до меня уже спели. Все.

Очень красиво.

Неповторимо.

А имена исполнителей? Шаляпин, Штоколов, Лемешев…

Зачем пытаться перепеть то, что популярно без меня?

Анечка рассудила просто:

– Ты споешь иначе. Шаляпин пел «Из-за острова на стрежень…» как мужик, сильный, могучий, такой вполне мог бросить красавицу-княжну за борт. А ты спой, как княжна.

– Как кто?!

– Как княжна, которую вот-вот бросят. Понимаешь, вокруг одни мужчины, грубые и безжалостные, они все против тебя…

Качалина еще какое-то время объясняла разницу между Стенькой Разиным и княжной, а потом поняла, что я молчу, вернее, не молчу, а… пытаюсь тихонько напеть.

– Ну, вот, я же говорила!

А перепеть за умопомрачительным Штоколовым «Гори, гори, моя звезда…»?

Я даже интонацию менять не стала, просто голос иной, и получилось замечательно.

А вообще, петь русские романсы меня просила Анастасия Ивановна Цветаева, сестра Марины Цветаевой. Сказала, что с моим голосом это просто обязательно.

Я отшутилась:

– Вот когда состарюсь…

Цветаева только сокрушенно покачала головой, мол, вот она, молодость неразумная, хотя молодой я уже давно не была.

Анастасия Ивановна подарила мне свою книгу воспоминаний, а я ей свои пластинки. С Цветаевой меня познакомила Анечка Качалина. Кажется, она знакома со всеми интересными людьми в Москве, а если по какому-то недоразумению не знакома, то легко может познакомиться, потому что ее знают даже те, кого не знает она сама.

Еще Качалина познакомила меня со своей подругой, актрисой Людмилой Ивановой, и ее мужем Миляевым.

Замечательная семья, в которой двое взрослых уже сыновей, во всяком случае, рослых. Ваня с меня ростом, мне рядом с ним комфортно.

Но комфортно и просто рядом с такими добрыми людьми. А песни у них какие! Людмила пишет прекрасные стихи, которые профессионалы с удовольствием превращают в песни. И мало кто даже в театре знает, что строчки об узелке, который завяжется между мною и тобой, написаны их коллегой.

А еще Людмила гениально сыграла в кино роль напористой профсоюзной деятельницы Шурочки в фильме «Служебный роман». Когда я смотрела этот фильм, не могла поверить своим глазам, как милейший человек мог вот так перевоплотиться! Настоящему таланту все под силу.

Я приезжаю в Москву, словно домой, зная, что меня там ждут, поддержат, помогут, даже просто накормят.

И не только в Москве…

Сейчас я уже не ночую в гостиницах с тараканами и без горячей воды, мне предоставляют люксы, хотя лично мне три комнаты и мраморный камин совсем ни к чему, как и позолота на ручках дверей и мебели. Для меня важней, чтобы кровать была нужной длины и тишина в номере.

В Ленинграде живет Раечка Алексеева, именно так: Раечка.

На концерте я заметила широко распахнутые глаза зрительницы. Обычно зрительный зал видишь не дальше первых рядов, невозможно разглядеть людей в полутьме, особенно когда сцена ярко освещена. Восторженные глаза бывают часто, веселые, иногда даже со слезами, но эти какие-то иные, словно камертон, по которому можно проверять – получилось или нет, слышно ли, понятно ли, дошло ли до сердца.

Такое бывает – видишь человека в первый раз и понимаешь, что это твое. Так было со Збышеком, так было с Анечкой Качалиной, с Антсом Паю, так получилось и с Раечкой.

Но как можно выловить человека, сидящего в зале? Никак. Сотни зрителей после окончания концерта поднимутся со своих мест и уйдут, пусть даже под впечатлением услышанного.

И все же случилось. После концерта в толпе поклонников, ожидающих автографы, я снова увидела эти глаза, подошла и спросила:

– Вам нравятся мои песни?

Ответ скорее прочитала в глазах, чем услышала из-за шума:

– Да.

Глаза не лгали, не умели и не желали учиться лгать. А ведь это было возвращение в СССР, первый приезд после катастрофы, я еще даже не до конца восстановила движения.

Стараясь не расплескать что-то очень важное, что родилось внутри, я не стала давать никакие интервью или отвечать на вопросы, просто села и уехала. Я не зря столько трудилась над восстановлением себя из руин, не зря репетировала и терпела боль, выходя на сцену, если обладательнице таких глаз понравилось, значит, все в порядке, я делаю то, что нужно.

Раечка со своей подругой приходила на каждый мой концерт в Ленинграде, обязательно приносила розы, хотя купить их зимой бывало трудно, это я знаю точно. Выносила букет на сцену, ее пропускали. Работники концертных залов точно чувствуют, кого из поклонников можно подпускать к артистам, а кого нет. Бывает, какого-нибудь настырного любителя оказывать знаки внимания держат за кулисами чуть не всем персоналом, потому что понимают: если выйдет на сцену, потом не уведешь обратно или вообще все испортит.

Раечку пускали, через несколько концертов я прекрасно знала ее в лицо и разыскивала взглядом в первых рядах. Если Раечка сидела, значит, все в порядке. В Ленинграде она превратилась в мой талисман. Помогала собирать букеты цветов, которые люди просто бросали на сцену или клали на самый край рампы, у нее я

спрашивала, хорошо ли звучит та или иная песня, все ли слова слышно, нет ли сильного акцента.

С Раечкой можно просто поговорить. Ни о чем и обо всем сразу. Конечно, она не знает меня так, как знает Анечка, Раечке я не плачусь в каждом письме, не прошу прислать какое-то лекарство или игрушку для Збышека, не жалуюсь на врачей, судьбу или погоду. Нет, жалуюсь, конечно, но не в такой степени.

Раечка моя ленинградская отдушина, когда я приезжаю, она бросает все и мчится помогать. Не знаю, как это терпят на ее работе, как терпит ленинградская певица с изумительным голосом Людмила Сенчина, которой моя подружка помогает воспитывать маленького сынишку. В Ленинграде Раечка не пропускает ни одного моего концерта, обязательно с букетом роз, обязательно в первых рядах в зале.

Я позволяю ей записывать концерты на магнитофон, хотя обычно мы такого не делаем. А на последнем концерте (ужасно сознавать, но действительно последнем) в Ленинграде посвятила им с ее подругой Нелли песню.

Раечке можно позвонить и попросить прийти с утра к гостинице, чтобы просто поболтать перед отъездом. И говорить, говорить, говорить… Расспрашивать ее саму о работе, о жизни в Ленинграде, о тех, чьих детей она воспитывает. Если бы я могла, просто приняла бы ее к себе на работу, как делают многие артисты на Западе, ездила бы она со мной и поддерживала каждую минуту…

Большой души человек, без броских фраз, без патетики, без битья в грудь, просто приходит и помогает, поддерживает, просто находится рядом, уже само это является поддержкой.

В Москве живет замечательный Боря, кажется, лучше него никто не знает мир грампластинок. Слышать от Бори восторженные слова, конечно, приятно, но, боюсь, он необъективен. Боря мой страстный поклонник, эта страстность мешает ему оценивать мою работу объективно.

А Ян Френкель, с которым мы «два жирафа»? Я однажды так нас назвала, а он не обиделся…

Замечательная женщина и вовсе не надоедливая журналистка Лия Спадони, с которой можно беседовать долго-долго, даже позвонив посреди ночи… Я знаю, что она никогда не напишет лишнего, не обидит ни словом, ни взглядом.

Замечательный поэт Саша Жигарев, всегда чуть смущенный, все понимающий и готовый совершить подвиг, только чтобы помочь. У него хорошие стихи, песни на которые я исполняла, чего стоит только «А он мне нравится»?..

Москва большая и суматошная, но в ней тепло и уютно из-за вот таких друзей.

А еще у меня есть друзья-космонавты, любимая песня у которых – «Надежда».

У меня много друзей в Москве, очень много. Это закон – хороший человек, с которым знакомишься, становится другом. Конечно, есть подруги, как Анечка Качалина, с которыми особенно близка, но хорошо мне со всеми.

Моим именем назвали звезду, вернее, небольшую звездочку. Даже не звездочку – малую планету или вообще астероид. Но важно, что она есть и пусть не светит сама, но хотя бы отражает свет какого-то солнца. Как к этому относиться. Как к большой ответственности, потому что нужно «светить не хуже», как сказал один знакомый, или возгордиться, все же не у каждого даже звездного певца есть своя звезда. Пусть не звезда, но маленький космический отражатель света многих Солнц.

Вот так и я через много лет после гениального Штоколова попыталась отразить его свет своим исполнением. Кажется, получилось. «Гори, гори, моя звезда…» стал одним из самых любимых в моем репертуаре. Нет, это не тот случай, когда исполнителю нравится, а мнение слушателей не в счет. Правда-правда, бывает и такое, исполнитель увлечен, зрители терпят…

Меня не раз мягко укоряли, что пою слишком много русских песен, вернее, песен советских композиторов, песен на русском языке. Мол, я же польская певица, должна петь по-польски. Но при этом не ставилось в вину, если исполняла песни на итальянском, например. Понятно, поляки немного ревновали меня к СССР.

Я не раз слышала от коллег… проклятья и слова о ненависти. Почему?!

Хотелось крикнуть именно это: почему, за что?! Я никогда не занимала чужое место, никогда никого не подсиживала, не сплетничала, не закручивала интриги. Я пела то, что не пел никто, не отнимала чужих песен, не закатывала скандалов, требуя особые условия. Единственное, что я требовала, – возможность петь живьем, без фонограммы. Но это не мой каприз, а желание не обманывать зрителей, если бы они хотели услышать фонограмму, то купили бы пластинку, а на концерты ходят, чтобы услышать живое пение.

Никому не завидовать меня научила бабушка. Она вообще научила многому.

Моя бабушка была удивительным человеком, таким от природы дается мудрость и понимание того, что в жизни правильно, а что нет. К сожалению, я даже не смогла проводить ее в последний путь, потому что сама лежала с очередным сильнейшим болевым приступом. Но ее наставления запомнила на всю жизнь.

Бабушка научила меня быть скромной и никогда не пытаться занять первый ряд. Впервые выступив на сцене, я смеялась:

– Бабушка, я нарушила твое правило – вышла к рампе, вперед, оставив музыкантов позади.

Внимательно посмотрев на фотографию, бабушка изрекла:

– Наверное, так положено.

Она приучила меня быть вежливой в повседневной жизни, не вешать на других свои проблемы, улыбаться даже тогда, когда тебе очень плохо:

– Другим вовсе ни к чему видеть твои страдания, особенно если они не могут помочь.

Бабушка была искренне верующим человеком и очень переживала из-за нашего неверия. Переживала, но молчала, понимая, что это требование времени.

Она относилась к Церкви Адвентистов Седьмого Дня, строгой и скромной.

Бабушка приучила меня (у нас и выбора другого не было) быть неприхотливой в быту, довольствоваться малым, но содержать это малое в порядке. Это очень помогло мне во время бесконечных разъездов, когда обходиться малым приходилось поневоле, не станешь же таскать с собой целый чемодан всякой всячины.

Она научила строго спрашивать сначала с себя, а потом с других.

Я бы очень хотела научить этому Збышека, но пока он еще не все понимает, а я больна и стараюсь меньше общаться с сыном, не хочу, чтобы он запомнил маму больной и некрасивой, пусть лучше знает по фотографиям.

Это, наверное, лучше всего, когда подобные принципы передаются от поколения к поколению, мне не удастся многому научить сына, чему-то научить и даже увидеть собственных внуков, но за меня это сделает Збышек-старший.

Не своя…

Не своя…

Странная формулировка, но это обо мне.

У чиновников в Москве идет обсуждение окончательного варианта последовательности номеров предстоящего концерта. Все на ходу, потому что вот-вот начнется генеральная репетиция, а на ней присутствует начальство повыше, потому все решают прямо за кулисами, чиркая на листочке и не обращая внимания на присутствующих артистов.

И вдруг слышу:

– Опять Герман? Своих, что ли, не нашлось?

Я на мгновение замираю. «Своих»… значит, я не своя. Все верно, я польская певица Анна Герман.

Чиновница видит, что я услышала, и видит, что я это увидела, а потому хмурится еще сильней – неудобно, это за глаза можно сказать что угодно, прямо в лицо не положено.

Но меня волнует не это, мне даже смешно, хотя смех сквозь слезы. Совсем недавно, пару месяцев назад в Варшаве я услышала почти те же слова:

– Герман? Что, своих не хватает?

Сказал их польский чиновник.

Тоже не своя. В Польше я все чаще «советская», не могут простить, что много песен пою по-русски и часто гастролирую в Советском Союзе. В Советском Союзе, хоть и родилась в Ургенче, я иностранка. Все правильно и неправильно одновременно.

Когда же, наконец, люди всей Земли для всех будут «своими» просто потому что люди, что родились и живут на одной прекрасной планете? Наверное, еще очень не скоро, еще долго будут пенять потомкам за какие-то ошибки их предков.

Но я знаю, где я «своя» – там, перед зрительным залом, когда тем, кто пришел послушать мое пение, все равно, кем я считаюсь и даже на каком языке пою. Когда зрители одинаково аплодируют и польским, и русским, и итальянским мелодиям, даже не понимая слов, потому что мелодии тоже способны брать за душу.

«Аве Мария» я пою перед любой аудиторией одинаково, и все понимают.

И пока я слышу аплодисменты, пока мои песни, неважно, где и кем они написаны, ждут и просят повторить на «бис», я «своя» в любой стране, где нужно мое пение, моя душа. И никаким чиновникам не отобрать у меня этой принадлежности!

Никто не знает, что я «не своя» и в Польше, и в Советском

Союзе еще по одной, возможно, более важной причине: мои предки немцы. Конечно, отец родился в Лодзи, но просто потому, что дедушка там учился. Мама «доказала», что ее предки приехали в Россию из Голландии, следовательно, она голландка. Я этакий симбиоз голландки и поляка.

Это не так, мой отец немец, его предки приехали в Россию из Вюртемберга, что гораздо ближе к Франции и Швейцарии, чем к Польше. У них были виноградники в долине Неккара. Приехали более ста пятидесяти лет назад, мой прапрадед был привезен совсем маленьким мальчиком. Они были меннонитами, крепко держались своей веры, запрещавшей брать в руки оружие, и, начав испытывать серьезное давление в Германии, а также материальные проблемы из-за безземелья, решили отправиться в далекую Россию, где им обещали возможность работать на своей земле и жить по законам своей веры.

Меннониты жили в России уже не первый десяток лет, когда предки по отцу тоже двинулись на восток. Мой прадед родился уже в России. Я толком не знаю, где именно они осели, но, кажется, поселение находилось недалеко от Азовского моря и называлось замечательно: Нойхоффнунг – «Новая надежда». Но эта «Надежда» не могла прокормить всех желающих, потому что семьи быстро росли, в них было по десять-двенадцать детей.

Чтобы не бедствовать, решено снова переселиться, не всем, но хотя бы некоторым.

Наш прадед с семьей отправился в Западную Сибирь, где земля стоила очень дешево и желающим переселиться выделялась какая-то помощь. Он основал свое хозяйство (кажется, это называется хутор) близ Петропавловска. Это между Омском и Курганом. Я плохо знаю географию Советского Союза, Польши гораздо лучше, но на карте Петропавловск отмечен.

Знаю, что прадед строил ветряные мельницы, а потом даже мельницу с мотором! Это было событие для округи.

У мамы предки тоже меннониты. Она не любит говорить о своих предках, о том, откуда они приехали, сообщая только, что из Фризии, то есть Голландии. Она не хочет называть себя немкой, добилась признания того, что является голландкой. Это ее право, в конце концов, каждый человек имеет право подчеркивать или скрывать свою национальность.

Сейчас, в век огромных скоростей, в век, когда телефон легко свяжет людей почти в любых точках земного шара, стоит только поднять трубку, когда телевидение может показать выступление на другой конец планеты, когда все могут знать обо всех,

казалось, пора забыть о различии между людьми. Но не тут-то было, разделение никуда не делось, никакое телевидение или коммуникации не помогают. Все равно есть свои и чужие.

Я легко говорю на нескольких языках, могу не только петь, но и разговаривать по-итальянски, по-немецки, конечно, по-русски… Казалось, я космополитка, которой все равно где петь, где жить, которая везде должна быть своей.

Но это не так, я достаточно хорошо знаю, что значит быть «не своей», с детства знаю. Это печальный опыт, и мне бы не хотелось, чтобы мой сын Збышек обрел хоть крупицу такого опыта.

Я родилась в Советском Союзе, в узбекском городе Ургенч, просто потому, что там жили мои родители. Наши предки давным-давно переехали в Россию, которой пригодились их умелые и работящие руки, их усердие и умение организовать хозяйство. Приехали, потому что их позвали, дали землю, помогли устроиться.

У переселенцев из Германии и Голландии были большие семьи, по десять-двенадцать детей. На землю садились крепко, надеясь, что все оставят детям. И оставляли, росли хозяйства, росли и большие села – ухоженные, цветущие. А когда земли стало не хватать, отправились дальше – осваивать сибирские просторы. И снова строили дома, сажали сады, пахали и сеяли, разводили скот…

И первыми были записаны в кулаки, первыми подверглись репрессиям, потому что были верующими, потому что не бедствовали.

Збышек еще маленький, я не знаю, стоит ли вообще объяснять ему, что мои предки были отправлены в тюрьму, в лагеря и даже расстреляны за антисоветскую деятельность. Как объяснить, что они вовсе не враги народа, что ничего плохого народу, среди которого родились и выросли, не сделали.

Меня часто пытаются расспрашивать о моей семье, о жизни в Советском Союзе, о моем происхождении. И приходится прикладывать немало усилий, чтобы не сказать лишнего, словно я виновата в том, какой национальности родилась.

Мы молчали, мы много лет молчали. И будем молчать дальше.

Но я хочу, чтобы Збышек знал, кто его предки.

Во время гастролей в Советском Союзе, особенно когда бывала в Сибири, внимательно вглядывалась в темный зал не только потому, что хотела видеть реакцию зрителей на свое пение, но еще и разыскивая лицо… отца. Мама верила, что ему удалось выжить, что десять лет без права переписки закончились через эти самые десять лет, что он живет где-нибудь в поселении, не желая давать о себе знать, чтобы не доставлять новые неприятности семье.

Однажды мама вскользь бросила:

– Нашел себе еще какую-нибудь…

Я была слишком мала, чтобы понять смысл этих слов, но почему-то запомнила.

Мне кажется, что мама даже справке о расстреле и посмертной реабилитации не поверила, она не видела отца мертвым, потому он для нее жив. До сих пор…

А тогда мы вообще ничего не знали, кроме того, что однажды его забрали.

Вот почему в каждом зале я тайком искала взглядом лицо отца.

Это были гастроли по целинным городам. Небольшой зеленый Целиноград, где много немцев, выселенных в начале войны из Поволжья. Там могли быть родственники обоих родителей, но я помнила, что мама никогда не обращалась за помощью к многочисленным родным отца, спрашивать, почему именно, не хватало духа, все словно само собой разумелось – мы сами по себе, они сами. Мне не нужна помощь, но отец… вдруг у него и правда новая семья, вдруг я встречусь с кем-то из его детей? Может, ему, им нужна помощь? Я, конечно, не богата, но если нужно помочь, то могу.

Я бы не стала задавать никаких вопросов вроде «почему»? Так сложилась жизнь, я уже прекрасно понимала, что она может заставить человека поступать не совсем справедливо, не совсем по совести, и это вовсе не означает, что человек жесток или подл. Нужно уметь прощать многие жизненные поступки, даже если они по отношению к тебе лично несправедливы. Мы же не всегда знаем, что заставило человека поступить именно так, и что бы мы сами сделали на его месте.

Нет, это вовсе не означает, что можно прощать все, но, по крайней мере, нужно выслушать объяснения причин и то, что сам человек думает. Или даже ничего не выслушивать, а просто посмотреть в глаза, все станет ясно.

Живи я дальше, никогда не стала бы рассказывать о своем отношении к отцу и к тому, как жизнь сложилась. Нет, наверное, когда-нибудь рассказала бы Збышеку, но далеко не все. Сейчас он

еще мал, но, к сожалению, я не увижу его взросления…

В моей биографии, вернее, в том, как мы ее преподносим, столько тумана… Когда-нибудь его нужно рассеять, но этого нельзя делать сейчас, возможно, когда-нибудь люди научатся относиться друг к другу по заслугам, по тому, что каждый стоит сам по себе, а не по тому, какая национальность записана в его паспорте.

Сумбурно, но, думаю, Збышек поймет, что я пытаюсь объяснить.

Честно говоря, в Целиограде я уже не искала взглядом отца или его родственников, если они не захотели знать меня ребенком, то им и в голову не придет соотнести польскую певицу Анну Герман с дочерью Ойгена (по-русски Евгения) Германа.

Поэтому, когда в гостинице меня вдруг попросил о встрече репортер местной газеты по фамилии Герман, я решила, что это однофамилец. Нет, не так, я заставила себя думать, что он однофамилец. Пусть из каких-то Германов, переселившихся с Поволжья, но никакого отношения к нам не имеющих. А вдруг это Рудольф, сын первой жены моего отца?!

Дверь открыла улыбаясь, но улыбка просто застыла на лице, потому что передо мной стоял почти седой человек с внешностью… моего отца. Да, именно так должен бы выглядеть Ойген Герман спустя почти сорок лет после того, как его арестовали за «шпионско-вредительскую деятельность», заключавшуюся в принадлежности к семье священнослужителя…

Сердце остановилось, Артур Герман, как он представился, был ниже меня ростом, но глаза!.. Я уже понимала, кто передо мной – младший брат отца. Хорошо помнила семейную фотографию Германов, на которой крайний справа Ойген, а крайний слева очень похожий на него маленький Артур. Из четверых братьев и трех сестер на снимке они больше всего похожи друг на друга и, наверное, на свою мать (на фото уже мачеха).

Но Артур не говорил, что он мой дядя, напротив, принялся вести беседу, даже не упоминая, что у нас одинаковые фамилии. Можно ли сознаваться? Мои мысли метались, я никак не могла принять решение. Мы в Советском Союзе, я дочь и внучка «врагов народа», иностранка, Артур Герман – сын репрессированного священника (тогда я еще не знала, что он сам отсидел немало лет за эту самую принадлежность к семье врагов народа). Кто знает, не навредит ли ему родство?

Мы вели милую беседу, даже не помню о чем именно, наверное, о концерте, планах на будущее, о творчестве и о том,

как хороши песни советских композиторов. Душой не кривила, песни советских композиторов всегда любила, но так хотелось коснуться его хотя бы кончиками пальцев, провести по седым волосам, тихонько произнести «дядя…».

И вдруг… не помню почему, но Артур Фридрихович достал из кармана рубашки ту самую семейную фотографию, на которой он слева, а отец справа. Кажется, я, не дожидаясь его объяснения, спросила:

– Где он?!

Конечно, об отце.

– Мы хотели узнать это у вас…

Вот и все, дядя тоже не знал об отце ничего. Но он многое смог рассказать мне о жизни старшего брата до его встречи с мамой. А еще в Целинограде жила тетя Луиза – самая младшая из сестер.

Так я узнала то, о чем не могла слышать от мамы и о чем она просто не могла мне рассказать.

Предки моего отца были из тех меннонитов, что переселились из земли Вюртемберг на юг Украины, они немцы, а не голландцы, как утверждала мама. Я вполне понимаю ее опасения, многие годы в Советском Союзе, да и в Польше тоже не стоило никому говорить, что у тебя предки немцы, даже обрусевшие, даже давно не имевшие ни малейшего отношения к Германии. То есть отношение-то всегда будет, дома мы говорили на пляттдойч – южнонемецком диалекте, считающемся почему-то голландским. Но к тому, что натворили в Европе гитлеровцы, отношение иметь не могли, не только папа и мама, но и их родители родились и выросли в России, и даже их дедушки и бабушки тоже. Они российские немцы, голландцы, австрийцы…

Это вот «мы голландцы» мама подчеркивала всегда и везде, словно открещиваясь от немецких и австрийских корней. У нее есть для этого причины.

Предки моих родителей перебрались в Россию так давно, что вполне могли считать себя русскими, если бы не язык. Только он да жизненный уклад, при котором ценился постоянный и хорошо организованный труд, скромность и вера, отличали эти семьи от многих других. Работящие, усердные и скромные – разве это не хорошие качества? Гордиться бы, а мы скрывали. Нет, не качества, а происхождение.

Удивительно, но когда мы жили в Советском Союзе, нас попрекали немецким происхождением, приходилось делать все, чтобы на него не обращали внимания, теперь, когда мы в Польше, нам ставят в «вину» рождение в Советском Союзе, то, что мое пение любят там, называют в насмешку советской певицей,

потому что в моем репертуаре песен на русском едва ли не больше, чем на польском.

Как объяснить, что я бы охотно пела польские песни, если бы мне их писали, охотно записывала бы пластинки в Польше, если бы мне предлагали, с удовольствием давала бы концерты, даже в маленьких городках и на маленьких сценах, если бы у меня был ансамбль и мне предлагали выступить. Я никогда не отказывалась от предложений выступить даже в сборных концертах, разве что тогда, когда еще не держалась на ногах, и вот теперь, когда уже не держусь.

Но лучше вернуться мыслями в Целиноград.

Дядя рассказал, что в семьях наших предков всегда было по многу детей, а потому выделенной для переселенцев земли стало не хватать, и тогда мой прадед решился отправиться в глубь России, в Западную Сибирь, где землю можно было купить дешево, к тому же давали кредит. Неподалеку от Целинограда он основал большой хутор Германовку, где в том числе построил мельницу (электрическую!). У прадеда, его звали Эдуардом, было двенадцать детей.

Дед Фридрих (я так и не поняла, каким он был по счету, но явно не старшим) отличался высоким ростом и светлыми голубыми глазами, отец удался в него. Дядя Артур со смехом рассказывал, что, стараясь ни в чем не уступать братьям, Фридрих тренировал силу и выносливость, ежедневно таская на плечах теленка. Тот подрастал, становился все тяжелее, но набирался силы и Фридрих тоже. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы выросшему быку не надоело быть снарядом для тренировок.

Когда дядя Артур рассказывал об этом, я смеялась до слез, представляя высокого, крепкого парня с бычком на плечах.

Фридриху хотелось учиться, больше всего он любил читать. Прадед решил не мучить сына, заставляя его трудиться на земле, а сделать из него пастора. Фридрих закончил школу, даже женился и потом уехал в Лодзь учиться в семинарию.

И дед Фридрих, и бабушка Анна были очень музыкальны, этим вообще отличались обе семьи, дед играл на скрипке, причем левой рукой. Дядя Артур смешно показывал, как дед водил смычком левой рукой, приводя в изумление всех.

В Лодзи родились старший из братьев моего отца дядя Вилли и сам отец – Ойген Герман (Евгений). Именно это дало маме, а потом и мне повод утверждать, что отец поляк. В том, что он немец, нет ничего плохого, отец, по отзывам всех его знавших, был хорошим, очень мягким и добрым человеком. Высокий, красивый, очень музыкальный, при этом спортивный и сильный,

Ойген был всеобщим любимцем. Он изумительно пел и просто мечтал руководить большим хором.

Правда, пели в семье деда больше религиозные песни, но кому это мешало?

Оказалось, мешало.

Окончив семинарию, дед Фридрих вернулся в Сибирь и служил проповедником в немецких колониях. Думаю, даже если бы он не стал священником, то был бы раскулачен, потому что все хозяйства предков пострадали. Но деда и вовсе осудили, как священника, и отправили на пять лет в лагерь куда-то под Архангельск. Он не выдержал и двух лет, в такие места, видно, отправляли вовсе не ради перевоспитания, а ради уничтожения.

Бабушка Анна к тому времени давно умерла от тифа, дед был женат на другой – Фриде. После его ареста и осуждения досталось всей семье. Очень больную Фриду за выкрики против тех, кто пришел арестовывать, тоже забрали, она погибла в лагере, потому что была беспомощной и страдала нервными приступами. Двое старших сыновей, Вилли и Давид, решили бежать на родину предков, им удалось нелегально перейти польскую границу, но Давид сильно простыл, заболел и умер. Дядя Вилли сумел добраться до Германии.

Понимали ли они, что означает для семьи их побег? Вряд ли, но решили спастись хотя бы сами. Всех остальных ждали лагеря и поселения, даже самых младших, ведь они были детьми врага народа, братьями и сестрами предателей, сбежавших за границу…

Отец в это время уже оказался женат, его жена Альма тоже была дочерью священника, но они пока не пострадали. Ойген уже получил специальность бухгалтера и работал на какой-то фабрике-кухне, так сказал дядя Артур. У них с Альмой родился сынок Рудольф, Рудик. К сожалению, отец начал пить. Нет, он сам не имел пристрастия к выпивке, но его активно втягивали, ведь бухгалтер мог многое прикрыть…

Наверное, будь рядом родственники или жена потверже, такого не случилось бы, но Альма не сумела держать мужа в руках. Однако Ойген не спился, причиной тому стало событие, изменившее его жизнь. Бухгалтер способен многое скрыть, но не все, какая-то проверка выявила крупную недостачу, отца могли посадить, но если учесть, что он был сыном и братом врагов народа, то простым заключением не обошлось бы.

Непонятно, что именно подвигло отца на такой поступок, но он решил бежать, и немедленно. Наивный и плохо знающий реальную жизнь, Ойген решил, как и братья, перейти границу, но только в Средней Азии, чтобы добраться до брата Вилли в

Германию и оттуда помогать своей семье. Кажется, наивными были все Германы.

Конечно, граница оказалась на замке, все же это не годы Гражданской войны, перейти ему не удалось, хорошо хоть не попался…

Тогда Ойген устроился на работу, жить-то на что-то нужно.

Обо всем этом дядя Артур уже не знал, они с Ойгеном связь потеряли.

Все, что он мог мне рассказать – о судьбе Альмы и Рудольфа.

Она была прекрасной портнихой и зарабатывала на жизнь тем, что шила на дому у заказчиц. Альма мечтала купить маленький домик и корову и растить сына одной, она уже не мечтала, что Ойген вернется. Но не успела хоть немного выбраться из нужды, как была арестована и осуждена, кажется, на семь лет. Скорее всего, из-за Ойгена, к тому времени уже расстрелянного…

Рудольфа воспитывали бабушка и тетя.

Закончив школу, он попытался поступить в Семипалатинский педагогический институт, но его не приняли по той же причине, по которой не дали и положенную за отличную учебу медаль – спецпереселенец. Немцам в Советском Союзе тех лет ждать хорошего не стоило (прошло меньше десяти лет после окончания войны, не стоило и упоминать, что ты немец или немка). Я этого на себе не ощутила, потому что мы с мамой и бабушкой уже уехали в Польшу, а там можно было говорить, что ты из Советского Союза, это было почетно, но тоже нельзя упоминать о немецких корнях.

Обиженный Рудольф объявил, что станет акушером и будет душить каждого рожденного немецкого ребенка, чтобы тому не приходилось потом терпеть такое унижение. Только через год после смерти Сталина ему удалось поступить в институт и стать учителем математики, кажется.

Я очень хотела с ним встретиться, но ни мама, ни я для Альмы и Рудольфа не существовали. Старшие сестры отца маму так и не признали, они считали вдовой Ойгена Атьму и, наверное, были по-своему правы. Для Альмы мама тоже была незаконной и разлучницей к тому же.

Я не могу осуждать отца за то, что он сделал или не сделал в жизни, не знаю, что подвигло его на побег от семьи, возможно, желание эту семью спасти. Понимаю только, что для Ойгена нужно было совсем иное окружение и совсем иная жизнь, он желал заниматься музыкой, петь, руководить хором, а приходилось отвечать за то, что в паспорте значилось: «немец».

Его родным тоже досталось. Лишь дяде Вилли удалось выбраться в Германию, хотя и там сладко не было. О нем я Збышеку ничего рассказать не смогу, дядя Вилли оберегает свою личную жизнь не меньше моей мамы. Это их право.

Все остальные прошли лагеря и поражение в правах, всем досталось.

С родственниками мамы проще, они не теряли связи даже в самые трудные годы.

После встреч с родными и с той и с другой стороны я поняла, что мама просто не желала общаться с родней отца, видно, понимая, что нас с ней хорошо не примут. Так и было, старшие брат и сестры отца не считали маму его женой, ведь у Ойгена была Альма и был Рудольф. Меня дочерью, наверное, признавали, все же отцовская кровь. Понимаю, как маме было обидно, потому не осуждаю за нежелание искать родных отца. А еще подозреваю, что мама до конца своих дней будет считать, что отец жив и просто не желает с ней встречаться. Это ее право, я не могу ни осуждать, ни обсуждать ее решение даже наедине с собой.

Сын за отца не в ответе, так почему же мы, родившиеся и выросшие в Советском Союзе, должны отвечать за то, что натворили нацисты в концлагерях Освенцима или Дахау, за миллионы загубленных жизней, за их преступления?

Только потому, что домашним языком моего детства был пляттдойч – южнонемецкий диалект? А если бы мы, немцы, дома говорили по-итальянски, мы бы перестали быть немцами, перестали быть виноватыми в чужих грехах?

«Неправильная» жизнь?

Все так сумбурно, но это больше для себя, для Збышеков, для того, чтобы что-то понять.

Что я должна была вынести из своего происхождения, вот такой истории семьи?

Убежденность, что жизнь несправедлива, что хорошего ждать не стоит? Ненависть к стране, в которой родилась? Ненависть к своей национальности, из-за которой пострадали мои родные?

Мне посчастливилось не увидеть этих самых лагерей, бомбежек, блокадного голода, я была слишком мала, чтобы понимать, насколько все плохо или опасно. Основная тяжесть легла на плечи мамы и бабушки. Да, мы не жили сытно, не знали, что такое достаток, не имели нарядов и даже своего жилья, перебиваясь на крошечных съемных комнатах или квартирках часто без удобств.

Квартиру маме я купила, только получив остатки гонорара за итальянские гастроли и наделав вдобавок уйму долгов. Мне самой выделили крошечную «кавалерку» в Варшаве (спальня была такой маленькой, что мои длинные ноги упирались в одну стенку, а многострадальная голова в другую) тоже после аварии.

Ничего лишнего, все очень скромно и только необходимое. Зато это помогло не гоняться за деньгами (как же не гоняться, если я даже в аварию попала, зарабатывая на жилье!) и ценить каждый злотый.

Главной моей воспитательницей была не мама, а бабушка. Мама всегда много работала, потому что мы жили на ее зарплату учительницы, пока не начала зарабатывать я сама. Учительницы везде получают не слишком много, жилье мы все время снимали, потому работать приходилось вдвое больше.

Я не умела и не хотела «брать от жизни», это недостойно хорошего человека, а я всю жизнь стремилась стать хорошим человеком. Если все будут только брать, кто же станет отдавать?

Это не так, я беру, беру полными пригоршнями, охапками, беру столько, сколько и не снилось всем этим умеющим брать от жизни материальные блага. Я вовсе не ханжа, хороший дом – это прекрасно, необязательно большой, но уютный, свой… и профессионально сшитые платья из хороших тканей, и хорошая еда, и возможность купить качественные лекарства, и интересные игрушки… Все это замечательно, но есть то, что не купить ни за какие деньги. Разве можно купить душевный отклик зрителей,

искренний восторг в глазах, настоящие аплодисменты или слезы? Каких денег или материальных благ стоят искренние письма от совершенно незнакомых людей, например из далекой Сибири, с поздравлениями или пожеланиями здоровья?

Наверное, возможно соединить одно с другим – зрительские симпатии и приличные заработки, честно заработанные аплодисменты и материальные блага, но я непрактичная, я не умела.

А теперь вот скоро конец, я прекрасно понимаю, что это так, а значит, надо попытаться понять, зачем же я жила на Земле, ведь все мы приходим на нее зачем-то.

Не сам я делал добро
Ни много и даже ни мало.
Это Его рука
Моею рукой давала.
Сам даже любить не умел
Ни преданно и ни неверно.
Он, кто любил со мной,
Лучше меня безмерно…

Ян Твардовский

С ксендзом Яном Твардовским судьба меня свела очень поздно, только теперь, когда ни времени, ни сил жить уже не осталось.

Я видела много добрых и прекрасных людей, но таких, кто бы верил в Бога, как дитя (он сам в этом признавался), верил не потому, что знал Библию от слова до слова, не потому, что с 33 лет проповедовал, а просто потому, что не мыслил свою жизнь без Него, всей душой сознавал себя твореньем Господа, не встречала.

Я всегда говорила, что лучшим человеком на свете была моя бабушка, и сейчас очень жалею, что мы не были знакомы с Яном Твардовским при ее жизни, они бы непременно нашли не просто общий язык, а общие порывы души.

Один жестокий удар судьбы я отбила, когда, собранная из кусков, сумела не просто встать на ноги, но и заново научиться ходить, петь, жить. И вот этот второй удар, когда услышала страшный приговор, не оставляющий надежды победить еще раз, он вызвал даже не отчаянье, а настоящий взрыв:

– За что?!

За что, почему я, почему на меня столько напастей? Разве мало я натерпелась, разве не доказала, что способна вытерпеть

любую боль, возродиться из пепла? Не так давно я говорила Анечке Качалиной, что вынесла столько, что теперь могла бы грешить, потому что откупила все будущие прегрешения.

Чем я так нагрешила, что недостойна жить?

У Анны Ахматовой есть такие строчки:

«И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова.
Справлюсь с этим как-нибудь».

Мне казалось, что я тоже готова.

Да, я пыталась обмануть всех вокруг – любимых, друзей, бдительную прессу, – когда отмахивалась от обследования, делала вид, что все не так плохо, что нога распухла от того, что я ее подвернула. Ничего… бывает… пройдет…

Не прошло, врачи сказали, что тромбофлебит и я шучу с огнем.

Самым страшным тогда казалось лишиться ноги, какая же я певица на костылях или протезе? Но я убедила себя, что все равно ношу длинные платья, а протезы делают замечательные. И больше одного концерта я все равно не даю. Один можно выдержать даже на костылях… или вообще сидя.

Никому не говорила, старательно улыбалась так, что скулы сводило, прятала глаза. Те, кому я дорога, увидели, но их удалось убедить, что это просто последствия былых травм, что вот закончу этот тур, вернусь с гастролей, отдохну, и все пройдет.

Пусть мои дорогие простят мне эту ложь, во-первых, мне просто не хотелось добавлять им лишние хлопоты, во-вторых, я уже так устала от больниц, что снова отдавать себя в руки врачей решила только в самом крайнем случае, а в-третьих (и в главных), я пыталась обманывать сама себя, себя в первую очередь убеждая, что это усталость, что все образуется, просто отдохну и снова стану если не здоровой, то подвижной.

Больше всего я лгала себе, а ложь остальным просто вырастала из этой лжи.

Человек боится этой последней правды, очень боится, даже если не боится всего остального. И я боялась и боюсь. Можно вытерпеть любую боль (или почти любую), можно даже смириться с безнадежностью своего положения, угрозой неподвижности, калечности, но примириться с мыслью о безнадежности положения вообще, о скором уходе и невозможности переломить судьбу в решающем раунде нельзя.

Я вспоминала Леонида Телигу.

Он умер от рака, потому что не пожелал прервать свое плаванье и лечь в больницу. Никто не знает, помогло бы ему, но шанс один из ста был. Телига не воспользовался этим шансом, потому что считал свое дело более важным, чем свое здоровье. Он имел право такого выбора.

Я вспоминала о встрече с Леонидом Телигой на своей передаче, когда он уже знал приговор, понимал, что месяцы и даже дни сочтены, испытывал страшные боли, но делал все, чтобы никто не усомнился в его силе духа, не стал жалеть, вообще не упоминал о приговоре судьбы.

Я не столь мужественна. Лежать в гипсе в надежде, что если приложишь пусть немыслимые усилия, перетерпишь сильнейшую боль, то встанешь, будешь жить – это одно, а понимать, что впереди уже ничего, когда у тебя маленький сын и тебе всего сорок пять, – совсем иное. Были минуты, когда я малодушно допускала мысль о самоубийстве.

Говорят, рак не любит свет и воздух. Неправда, очень любит, получив порцию того и другого, опухоль начинает расти, как тесто на дрожжах.

Я тоже об этом знала, потому решила не оперироваться, лучше подождать, попробовать другие средства и методы. Вот если не помогут и они, тогда пусть режут.

Наверное, я не права, хотя понимаю, что все равно все было безнадежно, тревогу следовало бить много раньше, при первых признаках серьезной болезни. Убеждала себя, что болезнь отступит только из-за моего желания жить, не может не отступить, нужно только… что, поголодать? Или полечиться травами? Побольше витаминов, и организм со всем справится сам.

Каждый раз, когда боль, нет, не отступала, но хотя бы на время стихала, я ликовала:

– Ну вот, помогает же!

Ненадолго помогало, я радовалась сообразительности Збышека-младшего, садилась к пианино, пыталась сочинять мелодии, отвечала на письма, даже давала интервью, правда, по телефону… Я пыталась обмануть саму смерть.

Не получилось. Никакие «другие средства и методы» не помогли. Стало ясно, что обманывать саму себя бесполезно, так же, как обманывать судьбу.

Еще строчки из того же стихотворения Ахматовой:

«У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,

Надо снова научиться жить».

Меня поразила последняя строчка, все остальное перекликалось с моими мыслями, но вот это «надо снова научиться жить»? О чем она?

И вдруг словно прозрение: может, еще не поздно, может, стоит попробовать хирургическое вмешательство?

Раньше меня начиняли всякими железяками, чтобы срослись кости, чтобы двигались суставы. Теперь вырезали, выжигали кобальтовыми лучами.

После каждой операции казалось, что надежда есть, что пусть не похожая на саму себя, белая, как простыни, на которых лежу, лысая из-за облучения, страшная, но я жива. Но потом все возвращалось.

Из человека нельзя постоянно что-то вырезать, его нельзя облучать ежемесячно, мне кажется, все понимают, что если я не умру от рака, то погибну от этих красивых кобальтовых лучей.

В моей жизни появился Ян Твардовский. Он сам пришел к нам домой в Варшаве. Есть люди, при одном взгляде на которых ты понимаешь: отмечен Богом. Ян Твардовский таков, с первой минуты мне показалось, что его глазами на меня смотрит Господь, словно в последние дни моего существования на Земле Он пришел ко мне помочь достойно прожить эти дни.

До того я карабкалась, пытаясь выбраться, выжить, цеплялась за любую возможность, почти кричала:

– За что?! Чем я заслужила такую кару?

Где справедливость, почему болезнь забрала, например, Леонида Телигу?

И вдруг…

Возблагодарить Господа за неравенство?

Как за такое можно благодарить?

Но Твардовский убеждал (не настаивая, не давя своим авторитетом), что это божественный замысел, что будь все равны и имей все все, никто никому не был бы нужен. Но в жизни у одного есть одно, у другого другое, я могу петь, а Збышек прекрасно разбирается в технике, мама знает несколько языков и может им научить, а врач прекрасно владеет скальпелем… И дело не в профессиональных умениях, кто-то хорошо плавает, а кто-то лазит по скалам, кто-то пишет стихи, а у кого-то отменное чувство ритма…

Одному дано одно, другому другое. Так задумано Им, наверное, для того, чтобы мы смогли делиться, помогать, дарить

другим то, чем одарил Он каждого.

Но люди делают совсем иное, они решили, что неравенство позволяет брать, а не давать. Если у человека есть одно, но нет другого, нужно либо взять недостающее, либо развить его у себя, а тем, что есть, можно гордиться, требовать себе что-то за Его дар.

Если бы люди отдавали другим то, чем их наградил Он, если бы не требовали за это платы, а щедро делились своими способностями, своим даром, то у всех было бы все, но не из-за равенства, а из-за взаимопомощи.

Помню, я лежала совершенно потрясенная простотой этой истины и ее светом.

Конечно, благословенно то неравенство, которое подвигает людей на помощь друг другу и на щедрый дар от одного к другому! Действительно, если бы каждый делился с другими тем, что получил в дар при рождении, у всех было бы все, но не завоеванное, не отнятое, не купленное, а полученное в дар теперь уже от людей.

Каждый знает, что дарить приятней, чем получать подарки, даже если дарил всего раз в жизни. Но только дарить нужно, не ожидая благодарности, просто от души, потому что у тебя есть, а другому нужно. Дар совсем не обязательно материальный, это может быть просто улыбка, добрый взгляд, благое пожелание. Если тебе пока трудно отдавать большее, дари хотя бы это. Только не жди ответного дара, потому что ожидаемый подарок не дар вовсе, а простая мзда.

Я привыкла, что любой священник твердит о смирении, о любви к нам Господа, о необходимости терпеть, ожидала услышать слова утешения, а услышала иное: достойно уйти не менее важно, чем достойно прожить жизнь.

Сначала была просто ответная благодарность: помочь достойно уйти тоже задача не из легких и как раз для ксендза. Но потом услышала:

– Слава Богу, есть смерть, чтоб мы могли узнать больше.

Ян Твардовский день за днем, встреча за встречей внушал мне, что не наказание это вовсе – физическая боль и мои страдания, даже не испытание. Это отвлекает меня от суеты, заставляет думать о вечном, помогает прийти к Богу душой, а не потому что «так надо».

– Не бывает неизбранных. Если мы живем на Земле, значит, мы избраны Им для жизни. Только нужно понять, к чему каждый годен, а еще научиться радоваться каждой малости.

Я жалела только об одном: что не встретила этого человека раньше.

– Если выздоровею, буду петь только в храме.

Отец Твардовский смотрел на меня теплыми, все понимающими глазами и привычно улыбался.

– Пой сейчас.

Я горько усмехнулась:

– Не могу, мне с постели не встать, сил нет.

– Я не зову на сцену, пой для себя, душой пой.

– А… что петь? – Я почувствовала, что ни одна песня моего репертуара, как бы ни была проникновенна, не подходит.

– Найди то, что тебя трогает, и напевай.

После ухода отца Твардовского на столике осталась лежать Псалтирь. Псалмы Давида… Я читала их бабушке, когда она уже плохо видела, но читала глазами и языком, не душой. Об этом говорила и бабушка:

– Ты услышь, услышь, что читаешь.

Удивительно, но теперь, после бесед с отцом Твардовским, псалмы «зазвучали», это вдруг оказались не просто буквы, собранные в слова, не просто слова, сложенные во фразы, а откровения, которые словно давались лично мне Им.

За псалмами последовал Гимн любви апостола Павла, а потом молитва «Отче наш».

Я уже не могу сидеть у пианино, нет сил, не могу писать, а диктовать кому-то, даже Збышеку, свои мысли не хочется, это совсем не то, что доверять бумаге. Кажется, стоит произнести вслух, и что-то потеряется, исчезнет нечто неуловимое, но очень-очень важное.

Написала последнее письмо Анечке в благодарность за присланные кассеты с новыми песнями, написанными специально для меня. Понимает ведь, что не будет никаких новых песен, но на расстоянии поддерживает, как может.

Больше писем уже не будет, последние силы я лучше потрачу на то, чтобы поговорить с ней мысленно. У нас с Анечкой Качалиной незримая связь за тысячи километров, связь духовная, для которой неважны расстояния и невозможность обмениваться письмами.

Как бы мне хотелось рассказать ей о своих «открытиях», она бы все поняла. Но писать об этом нельзя, да и на бумаге не то, нужно глаза в глаза. Не смогу…

А вот о главном своем решении сообщила. Это решение удивило маму и Збышека, но оно твердое. Я решила креститься в бабушкину веру, она была адвентисткой Седьмого Дня.

Адвентисты, в отличие от других христиан, принимают крещение взрослыми, после совершеннолетия. Человек не должен выбирать Бога разумом, это была бы не вера, а холодный расчет. Но и получать веру готовой по решению родителей тоже нельзя. К вере нужно прийти душой, и неважно, сколько при этом будет лет.

Я пришла в сорок шесть. Печально, что уже совершенно без сил и в конце земной жизни.

Збигнев-старший католик, Збышек-младший выберет сам, душой, а не родительской волей.

А еще я не боюсь оставлять своих любимых людей, я знаю – они справятся и без меня. Збышек сильный и умный, он вырастит хорошего сына и поможет маме. Господь их не оставит.

Еще год назад, услышав страшный диагноз, я готова была кричать от отчаянья, грозить небесам кулаками:

– За что?!

За этот страшный год, лежа без сил, непохожая сама на себя, скрипя зубами от боли и бессилия, я многое поняла. Эти новые знания о себе, дорогих людях, о жизни вообще разительно отличаются от всего, что знала прежде. Неужели нужно было остановиться на краю, чтобы понять самое важное? Тогда Ян Твардовский прав: «Слава Богу, есть смерть, чтобы мы могли узнать больше…

Могу добавить другое:

– Дай Бог остальным понять самое важное задолго до края.

Благословляю остающихся. Мне будет нетрудно уйти, я готова…

Постскриптум

Анна Виктория Герман родилась 14 февраля 1936 года в городе Ургенч Узбекской ССР.

Ее предки были меннонитами (протестантизм), переехавшими из Германии на территорию России в конце XVIII века.

Отец Анны Евгений (Ойген) Герман был репрессирован в 1937 году и через год расстрелян. В 1957 году реабилитирован посмертно.

Репрессированы оказались и многие родственники – дед по отцу Фридрих Герман был осужден на пять лет лагерей, как священник, брат матери Вильмар Мартенс осужден также на пять лет лагерей, оба погибли; братья и сестры отца также прошли сталинские лагеря, все реабилитированы и проживали (проживают) в Германии.

Во время войны мать Анны Ирма Мартенс вышла замуж вторично за польского офицера Германа Бертнера, что позволило ей после войны увезти свою мать Анну Фризен и маленькую Аню в Польшу.

Начала учиться в школе Анна Герман в Советском Союзе, закончила школу в Польше.

В 1955 году поступила и в 1961 году окончила Вроцлавский университет по специальности геолог.

Еще во время учебы начала работать на эстраде, в 1962 году сдала квалификационный экзамен, став артисткой эстрады и получив стипендию на два месяца стажировки в Риме.

1963 год – Международный фестиваль в Сопоте, вторая премия за песню «Крики чаек».

1964 год – фестиваль польской песни в Ополе, вторая премия за песню «Танцующие Эвридики»;

Международный фестиваль в Сопоте, первая премия за песню «Танцующие Эвридики».

1965—66 годы – зарубежные гастроли, фестивали, выходы первых пластинок.

1967 год – участие в фестивале в Сан-Ремо, работа в Италии, запись пластинки неаполитанских песен, награда «Оскар зрительских симпатий» (вместе с Челентано).

27 августа – автокатастрофа, 49 переломов, неделя в коме,

полная неподвижность, гипс всего тела.

Возвращение в Польшу в гипсе.

1968 год – операции, реабилитация в польских клиниках.

Создание цикла авторских песен «Человеческая судьба».

1969 год – создание книги «Вернись в Сорренто?».

1970 год – «возвращение Эвридики»; титул «Самая популярная варшавянка года».

Первые записи на радио, выход пластинки «Человеческая судьба».

1971 год – первые концерты, попытки найти новых композиторов, свой ансамбль, новую манеру исполнения.

1972 год – первые после аварии гастроли в СССР, записи пластинок, участие в фестивалях;

Свадьба со Збигневом Тухольским.

1973—75 годы – гастроли, записи новых песен, концерты, участие в телепрограммах.

27 ноября 1975 года – рождение сына Збышека, названного в честь отца.

1976–1980 годы – ежегодные гастроли в СССР, гастроли в США, странах Европы, в Монголии, Австралии.

Записи пластинок.

1980 год – последний концерт в СССР, диагноз тромбофлебит, осенью последние гастроли (в Австралии), последний в жизни концерт в Варшаве.

1981 год, январь – поставлен диагноз «рак».

С июля череда операций.

Музыка к Гимну любви апостола Павла, к псалмам Давида, к молитве «Отче наш».

Беседы с ксендзом Яном Твардовским.

1982 год, май – крещение в церкви Адвентистов Седьмого Дня (вера ее предков).

25 августа 1982 года Анна Герман тихо умерла во сне.

Последние слова в предыдущий день:

– Мне нетрудно уйти… Я готова…